

TEMPUS
ET
MEMORIA

TEMPUS ET MEMORIA

Журнал основан в 2006 г.
Выходит 4 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета, 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77- 79281 от 02 октября 2020 г.

Журнал индексируется в БД: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

В журнале печатаются статьи по философии, социологии и политологии. Материалы представлены в рубриках по проблемам, разработка которых требует совместных усилий философов, социологов и политологов. Редакционная политика «Tempus et Memoria» строится на принципах научного плюрализма: позиция авторов журнала не обязательно отражает точку зрения редколлегии. Редакция журнала стремится соответствовать строгим критериям научности, все материалы проходят двойное слепое рецензирование. К рецензированию и печати принимаются материалы на русском и английском языках. Особое внимание уделяется участию молодых перспективных исследователей — аспирантов или соискателей. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Е-mail: tempusetmemoria@urfu.ru

Сайт: tempusetmemoria.ru

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 319, «Tempus et Memoria»

© Уральский федеральный университет, 2020

TEMPUS ET MEMORIA

The Journal was founded in 2006
Published 4 times a year

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media. Mass media registration certificate EL FS77- 79281
as of October 02, 2020

The Journal is indexed in: Science Index (eLibrary)

The journal publishes articles on philosophy, sociology and political science. The materials are presented under the headings on problems, the development of which requires the joint efforts of philosophers, sociologists and political scientists. The editorial policy of «Tempus et Memoria» is based on the principles of scientific pluralism: the position of the authors of the journal does not necessarily reflect the point of view of the editorial board. The editors of the journal strive to meet strict criteria for scientificity, all materials undergo double-blind peer review. Materials in Russian and English are accepted for review and printing. Particular attention is paid to the participation of young promising researchers — graduate students or applicants. Publications in the journal are carried out on a non-commercial basis.

Email: tempusetmemoria@urfu.ru
website: tempusetmemoria.ru

Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Tempus et Memoria

© Ural Federal University, 2020

Главный редактор

Д. А. Аникин, к. ф. н. (Россия, Москва, Московский государственный университет)

Ответственный секретарь

Е. С. Ковалева (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Редакторы разделов

А. А. Линченко, к. ф. н. (Россия, Липецк, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ) — редактор раздела по философии

А. В. Михалев, д. п. н. (Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет) — редактор раздела по политологии

Е. Ю. Рождественская, д. с. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики) — редактор раздела по социологии

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. В. Беляева, к. ф. н. (Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет)

А. Г. Васильев, к. и. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

Н. В. Веселкова, к. с. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

И. О. Дементьев, к. и. н. (Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет)

Д. В. Ефременко, д. п. н. (Россия, Москва, Институт научной информации по общественным наукам РАН)

Г. В. Касьянов, д. и. н. (Украина, Киев, Национальная академия наук Украины)

М. Г. Мацкевич, к. с. н. (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт Российской академии наук)

Е. Махотина, PhD (Германия, Бонн, Рейнский университет Фридриха Вильгельма в Бонне)

А. С. Меньшиков, к. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

А. И. Миллер, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

М. М. Мчедлова, д. п. н. (Россия, Москва, Российский университет дружбы народов)

Ф. В. Николаи, д. ф. н. (Россия, Нижний Новгород, Мининский университет)

И. О. Пешков, PhD (Польша, Познань, Университет им. Адама Мицкевича)

В. В. Семенова, д. с. н. (Россия, Москва, Институт социологии Российской академии наук)

М. Е. Соболева, д. ф. н. (Австрия, Клагенфурт, Альпийско-Адриатический университет Клагенфурта)

Е. О. Труфанова, д. ф. н. (Россия, Москва, Институт философии Российской академии наук)

Е. С. Черепанова, д. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

А. И. Миллер, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге) (**Председатель**)

Ш. Бергер, PhD (Германия, Бохум, Рурский университет в Бохуме)

В. А. Кокшаров, к. и. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

М. Ларюэль, PhD (США, Вашингтон, Университет Джорджа Вашингтона)

Н. А. Ломагин, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

О. Ю. Малинова, д. ф. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

Т. Л. Никодемо, PhD (Бразилия, Сан-Паулу, Университет Кампинас)

Л. Ноймайер, PhD (Франция, Париж, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна)

Л. П. Репина, д. и. н. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории Российской академии наук)

Р. Саква, PhD (Великобритания, Кентербери, Кентский университет)

Д. Сталюнас, PhD (Литва, Вильнюс, Институт истории Литвы)

В. Н. Сыров, д. ф. н. (Россия, Томск, Томский государственный университет)

Б. Тренчени, PhD (Венгрия, Будапешт, Центральный Европейский университет)

М. Б. Хомяков, д. ф. н. (Кыргызстан, Бишкек, Университет Центральной Азии)

Дизайн обложки — Ольга Язовская

Editor-in-Chief

D. Anikin, PhD (Russia, Moscow, Moscow State University)

Managing Editor

E. Kovaleva (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

Partition editor

A. Linchenko, PhD (Russia, Lipetsk, Financial University under the Government of the Russian Federation), Philosophy Section Editor

A. Mikhalev, PhD (Russia, Ulan-Ude, Buryat State University), Political Science Section Editor

E. Rozhdestvenskaya, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics), Sociology Section Editor

EDITORIAL BOARD

E. Belyaeva, PhD (Belarus, Minsk, Belarusian State University)

E. Cherepanova, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

I. Dementev, PhD (Russia, Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University)

D. Efremenko, PhD (Russia, Moscow, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences)

G. Kasianov, PhD (Ukraine, Kiev, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine)

E. Makhotina, PhD (Germany, Bonn, University of Bonn)

M. Matskevich, PhD (Russia, St. Petersburg, Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences)

M. Mchedlova, PhD (Russia, Moscow, RUDN University)

A. Menshikov, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

A. Miller, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg)

F. Nikolai, PhD (Russia, Nizhny Novgorod, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University)

I. Peshkov, PhD (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University in Poznan)

V. Semenova, PhD (Russia, Moscow, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences)

M. Soboleva, PhD (Austria, Klagenfurt, University of Klagenfurt)

E. Trufanova, PhD (Russia, Moscow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences)

A. Vasilyev, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

N. Veselkova, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL COUNCIL

A. Miller, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg) (**Chairman**)

S. Berger, PhD (Germany, Bochum, Ruhr University Bochum)

M. Homiyakov, PhD (Kyrgyzstan, Naryn, University of Central Asia)

V. Koksharov, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

M. Laruelle, PhD (USA, Washington, George Washington University)

N. Lomagin, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg)

O. Malinova, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

T. Nicodemo, PhD (Brazil, São Paulo, University of Campinas)

L. Neumayer, PhD (France, Paris, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

L. Repina, PhD, corresponding member of the Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow, Institute of World History, Russian Academy of Sciences)

R. Sakwa, PhD (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canterbury, University of Kent at Canterbury)

D. Staliunas, PhD (Lithuania, Vilnius, Lithuanian Institute of History)

V. Syrov, PhD (Russia, Tomsk, Tomsk State University)

B. Trencsényi, PhD (Hungary, Budapest, Central European University)

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

От редакции	6	Editorial	6
-------------------	---	-----------------	---

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТИ

Бергер Ш. Идеи в истории, философии и религии: исторические науки и активизация памяти в XX в.	8
Иванов А. Г. Мифологизированное прошлое как часть исторической памяти.....	25
Романовская Е. В. Проблемы памяти в книге Ле Гоффа «Исто- рия и память»	31
Доронина С. Г. Социальная структура прошлого: индиви- дуальная и коллективная память.....	36

ПАМЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Сыров В. Н. Пути и способы исторического прими- нения: профессиональное сообщество и проблема конфликтующих нарративов о прошлом.....	44
Линченко А. А. «Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти. Часть I	53
Овчинников А. В. Образы «Великой Победы»: реципрочно- редистрибутивные аспекты категорий вины и ответственности	68

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОШЛОГО

Sherlock T. Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth.....	76
Бутейко Д. А. Виртуальные мемориалы: опыт трансфор- мации российских и немецких мемориаль- ных музеев в онлайн-формат	82
Горобий А. В. Стратегии работы с исторической памятью на телевидении Германии.....	89
Котова А. В. «Энеида» Вергилия в политике и культуре эпохи принципата Августа.....	97

THEORETICAL GROUNDS FOR STUDYING MEMORY

Berger S. Ideas in History, Philosophy and Religion: the Historical Sciences and Memory Activism in the Twentieth-Century	8
Ivanov A. G. Mythologized Past as Part of Historical Memory	25
Romanovskaya E. V. Memory Problems in the Book of Le Goff “History and Memory”	31
Doronina S. G. Social Structure of the Past: Individual and Collective Memory.....	36

MEMORY OF SOCIAL GROUPS

Syrov V. N. The Professional Community and the Problem of Conflicting Narratives about the Past.....	44
Linchenko A. A. “We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Part I	53
Ovchinnikov A. V. Images of the “Great Victory”: Reciprocal- redistributive Aspects of Categories of Guilt and Responsibility	68

POLITICAL PRACTICES IN THE USE OF THE PAST

Sherlock T. Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth.....	76
Buteiko D. A. Virtual Memorials: Experience of Transform- ing Russian and German Memorial Museums into Online Formats.....	82
Gorobiy A.V. Strategies for Working with Historical Memory in German Television.....	89
Kotova A. V. Virgil’s “Aeneid” in Politics and Culture of the Augustan Principate	97

Появление нового журнала представляет собой важный символический акт. В данном случае журнал является одновременно и старым, и новым. С одной стороны, он продолжает собой журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки», издававшийся в Уральском федеральном университете, то есть традицию, которая закладывалась и поддерживалась поколениями уральских ученых-гуманитариев с 2006 г. И это немалая ответственность как по отношению к конкретным людям, так и по отношению к университету. С другой стороны, журнал «Tempus et Memoria» представляет собой совершенно новый журнал, по крайней мере, с точки зрения его сосредоточения на вопросах времени и памяти.

Польза от русскоязычного журнала, посвященного этой проблематике, очевидна. Изучение исторической памяти в современных социально-гуманитарных науках представляет собой одно из наиболее активно развивающихся исследовательских полей, о чем свидетельствует постепенная институционализация данного направления — возникновение международной Ассоциации исследователей памяти (Memory Studies Association, 2016), появление специализированных журналов («History and Memory», «Memory Studies»). В последние годы схожие тенденции отмечаются и в России: начинают возникать магистерские программы по memory studies, в Европейском университете создан Центр изучения культурной памяти и символической политики. Насущной потребностью становится отечественное периодическое издание, которое было бы ориентировано не только на анализ отдельных кейсов, но и на теоретическое осмысление самого исследовательского поля, методологии исследования, проблемных вопросов в изучении культурной памяти и символической политики.

Научная миссия журнала «Tempus et Memoria», который в обновленном формате начинает выходить с 2020 г., состоит в создании мультидисциплинарной исследовательской платформы, предназначенной для специалистов в сфере философии, политологии, социологии, истории, антропологии. Журнал нацелен на изучение различных форм и механизмов культурной и коллективной памяти, политического и социального использования прошлого: преподавания истории, практик мемориализации и коммеморации, музейной деятельности, институционализации политики памяти, практик законодательного и административного контроля этой сферы, практик забывания.

Мы отдаем себе отчет в том, что исследователи в сфере memory studies не могут быть свободны от политических и идеологических предпочтений, но все работы, предлагаемые для нашего журнала, должны соответствовать научным критериям. Журнал «Tempus et Memoria» стремится стать площадкой для представления разнообразных, зачастую даже противоречивых, дискурсов обращения к прошлому, которые появляются в современном мире.

Рубрикация материалов журнала сочетает региональный и тематический принципы. Постоянными рубриками станут: «Теоретические и методологические принципы исследования памяти», «Социология времени и политика памяти», «Мемориальные практики на постсоветском пространстве», «Политическое использование памяти — мировые практики». Раздел «Рецензии» позволит знакомить читателей с новинками зарубежной и отечественной литературы, поэтому редакция призывает всех авторов присылать свои монографии или учебные пособия по тематике времени и памяти для подготовки рецензии на них на страницах журнала. Планируется также раздел с обзорами литературы по изучению памяти в различных странах. Указанные разделы

соответствуют предметным областям знания по классификации Scopus: 1211 (Philosophy), 3312 (Sociology and Political Science).

Несмотря на то что в журнале преобладают три направления — философия, социология, политология, такое деление не ограничивает междисциплинарный характер издания, поскольку значительная часть статей по проблематике времени и памяти создается на стыке различных гуманитарных и не только гуманитарных дисциплин. В этом смысле редакция журнала открыта для предложений отдельных статей или целых тематических блоков, выходящих за рамки трех основных дисциплинарных направлений, но при условии, что предлагаемые темы напрямую соотносятся с основной миссией журнала.

Редакционная политика «Tempus et Memoria» строится на принципах научного плюрализма: позиция авторов журнала не обязательно отражает точку зрения редколлегии, если таковая вообще существует по тому или иному вопросу.

Журнал планируется к изданию на двух языках — русском и английском. Это связано с принципиальной ориентацией на международное сообщество, поэтому приветствуется подача статей на английском языке. Но параллельно журнал выполняет и просветительскую миссию, что предполагает перевод ключевых статей иноязычных авторов для ознакомления с ними отечественной аудитории.

Периодичность журнала — четыре номера в год. Первоочередной задачей журнала является вхождение в перечень рецензируемых научных изданий Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК), но есть и более стратегическая задача — вхождение в международные базы цитирования (Web of Science, Scopus). С этим связана процедура отбора статей журнала. Каждая из них проходит двойное анонимное рецензирование, к которому привлекаются члены международной редколлегии, а также пул экспертов. В случае наличия мнения двух экспертов о несоответствии статьи тематике журнала, статья отклоняется. Срок рецензирования статьи не может составлять больше четырех месяцев. В случае приема статьи к печати редакция может по запросу предоставить справку об этом. Особое внимание уделяется участию молодых перспективных исследователей — аспирантов или соискателей.

Цель проекта — создание междисциплинарной исследовательской платформы для специалистов в сфере изучения философии, социологии и политологии памяти. Уникальность данного проекта обусловлена тем, что в России нет такого журнала, хотя количество исследователей, проводимых конференций и реализуемых грантов свидетельствует об острой необходимости в формировании единого исследовательского пространства. Важным аспектом является и заинтересованность международного сообщества в появлении специализированного журнала, ориентированного на взвешенное изучение мемориальных и темпоральных практик на постсоветском пространстве.

*Главный редактор
Д. А. Аникин*

*Председатель редакционного совета
А. И. Миллер*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТИ

УДК 94:159.953 + 316.346.36 + 129

Штефан Бергер

Рурский университет в Бохуме, г. Бохум, Германия

E-mail: stefan.berger@ruhr-uni-bochum.de

Идеи в истории, философии и религии: исторические науки и активизация памяти в XX в.

Цель статьи — обсудить роль общественных наук, в частности истории, в дискурсе памяти и государственной политике. Статья состоит из 6 глав: Первая мировая война, Вторая мировая война и Холокост, гражданские войны, деколонизация и класс, раса и гендер в условиях деиндустриализации, каждая из которых обсуждает конкретную мемориальную повестку и роль историков в ее формулировании. Используя метод кейс-стади, автор делает вывод о том, как страны с различной культурой и позицией в международных отношениях справляются с существующей исторической перспективой и изменяют их для своих политических целей. Автор также упоминает об изменении самой науки о памяти, заявляя, что с переходом от XX века к веку XXI политика памяти изменила фокус с изучения национальной истории на изучение отношений между государствами или даже на анализ транснациональных мемориальных явлений. В целом, заключает автор, роль историков в прошлом веке возросла, поскольку они стали одним из самых влиятельных социальных акторов, влияющих на коллективный дискурс памяти.

Ключевые слова: коллективная память, деиндустриализация, история, политика, коммеморация, философия, религия

Для цитирования: Бергер Ш. Идеи в истории, философии и религии: исторические науки и активизация памяти в XX веке // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 8–24.

Поступила в редакцию: 30.10.2020

Принята к печати: 02.12.2020

Stefan Berger

Ruhr University Bochum, Bochum, Germany

Ideas in History, Philosophy and Religion: the Historical Sciences and Memory Activism in the Twentieth-Century

The article aims to discuss the role of social sciences and, in particular, history in the memory discourse and the politics of the country. The article is comprised of 6 chapters: First World War, Second World War and the Holocaust, Civil Wars, Decolonization and class, race and gender in deindustrialization, each of them discussing a specific memory agenda and the role of historians in formulating it. By using the case study method and methods of historical analysis, authors draw conclusions on how countries with different culture and roles in international events cope with existing historical perspective and alter them for their policy goals. The authors also mention the change in the memory science itself, stating that, with the transition from the 20th century to 21, the memory politics changed focus from studying national history to studying relations between them or even transnational memory phenomena. All in all, the authors conclude, that the role of historians increased during the last century as they became one of the most influential actors among many who influence the social discourse and collective memory.

Key words: collective memory, deindustrialization, history, politics, commemoration, philosophy, religion

For citation: Berger, S. (2020). Ideas in History, Philosophy and Religion: the Historical Sciences and Memory Activism in the Twentieth-Century. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 8–24.

Submitted: 30.10.2020

Accepted: 02.12.2020

Введение

Взаимосвязь между идеями и памятью диалектична: идеи обрамляют память, а из памяти рождаются идеи. В этой статье мы проанализируем деятельность специалистов, работающих в сфере исторических наук, главным образом в самой истории, но также и в дисциплинах, которые имеют историческую направленность, таких как социология, политология, философия и религиоведение.

Поскольку моя собственная научная деятельность в основном посвящена историографии истории и истории общественных движений, в этой статье особенно пристальное внимание будет уделено историкам как активистам памяти. Следует добавить, что когда я далее в своей работе буду упоминать исторические науки, то буду подразумевать под этим не только деятельность профессиональных историков или представителей смежных академических дисциплин. Важно принимать во внимание более широкий контекст, в котором непрофессиональные историки, работающие в качестве публицистов, журналистов, или люди, занимающиеся так называемой «историей снизу», изучающие исторический

процесс с точки зрения простых людей, могут иметь значительное влияние. Исторические науки в таком широком понимании, как утверждает Вульф Канстайнер, являются одним из влиятельных мемориальных сообществ [44, 123]. В традиции Мориса Хальбвакса, который оказал влияние на Пьера Нора и целый ряд других историков памяти, следовавших уже за Нора, исторические науки рассматривались как зеркально противоположные по отношению к коллективной памяти, конфликтующие с ней или корректирующие ее [31, 65]. Однако, как показал Крис Лоренц, подобному ожиданию они не всегда могут соответствовать [53]. Исторические науки остаются глубоко вовлеченными в производство памяти и, как мы увидим далее, в некоторых случаях сильно влияют на то, какой именно тип коллективной памяти формируется в публичной сфере. Научная деятельность и конструирование памяти являются тесно связанными процессами.

В своей работе я выбрал шесть объемных тем, демонстрирующих влияние исторической науки на широкий мемориальный ландшафт. Это две мировые войны и Холокост, гражданские войны, революции, деколонизация в контексте холодной войны и деиндустриализация,

с которой тесно связаны проблемы класса, расы и гендера. Ни одна из культур памяти, связанных со знаниями, генерируемыми историческими науками, не может быть подробно исследована в такой короткой обзорной главе. Однако я надеюсь, что мне удастся продемонстрировать плодотворность совместного изучения исторических наук и публичных дискуссий по вопросам памяти, а также побудить других исследователей к более активной работе в этом направлении.

Исторические науки и память о Первой мировой войне

Первая мировая война часто рассматривается представителями исторических наук как *Urkatastrophe* (первичная катастрофа) XX в. В дискурсе памяти она становится началом столетия, вся первая половина которого отличалась катастрофичностью. Короткий XX в., длившийся с 1914 г. до окончания холодной войны (1989–1992), стал мощным каркасом памяти для интерпретации последнего столетия [39]. В войнах памяти по поводу Первой мировой войны, которые начались после того, как была выпущена последняя пуля, исторические науки сыграли решающую роль. Центральное место в обсуждениях занимал вопрос о вине за начало войны, поскольку Версальский мирный договор навязал Германии суровое мирное урегулирование, мотивируя это ее единоличной виной в развязывании конфликта в 1914 г. (статья 231) [59]. В межвоенный период немецкие политики и широкая общественность оспаривали подобную память о произошедшем в августе 1914 г. — не в последнюю очередь путем мобилизации архивов в качестве институциональных хранилищ памяти. Те, кто подвергся обвинениям, и те, кто проиграл войну, представили самые впечатляющие архивные доказательства, опровергающие идею о том, что в развязывании войны в 1914 г. виноваты только они. Исторические науки сыграли важную роль в этом процессе. Историки соглашались работать на Министерство иностранных дел Германии, чтобы помочь в выпуске сорока томов документов, а также высказывали свою позицию в научных публикациях и в статьях, рассчитанных на широкую национальную и международную аудиторию.

Они способствовали активизации памяти с одной-единственной целью — помочь Германии в борьбе с Версальским договором, доказав ошибочность его основного обвинения [40].

Западные союзники отреагировали на этот вызов слишком поздно: британские и французские документальные проекты выглядели слишком слабыми в сравнении с германскими аналогами, хотя в этих странах исторические науки также бросились на помощь своим правительствам, чтобы разработать интерпретации прошлого, подкрепляющие идею о единоличной вине Германии в развязывании войны. Дебаты на тему памяти о начале Первой мировой войны имели, с одной стороны, сильную национальную направленность. Они разыгрывались перед национальной аудиторией, историки обращались именно к ней в своих трудах. С другой стороны, дебаты также имели транснациональный характер: британские и американские историки поддерживали тесную связь друг с другом при издании своих серий документов об этом периоде, чтобы избежать публикации сведений, которые могли бы поставить в неловкое положение одну из стран. Немецкие же историки сотрудничали с советскими коллегами в надежде, что в российских архивах найдутся убедительные аргументы в пользу их интерпретации событий августа 1914 г. Кроме того, осуществлялись попытки заключить двусторонние соглашения о предоставлении доступа к «зарубежным» архивам [90]. В конечном счете активизация немецких исторических наук в области сохранения памяти способствовала проведению политики умиротворения в 1930-е гг., поскольку британские политики и другие западные государственные деятели стали полагать, что к Германии действительно относились несправедливо по итогам Первой мировой войны [95].

Активизация памяти о Первой мировой войне благодаря исторической науке продолжилась в 1960-х гг., когда публикации немецкого историка Фритца Фишера по поводу начала Первой мировой войны вызвали большую дискуссию. В них исследователь утверждал, что в годы, предшествовавшие войне, германская немецкая элита действительно планировала ее и готовилась к ней. И в довершение он выдвинул предположение о том, что Первая и Вторая мировые войны были продолжением

империалистических стремлений к мировому господству, которых Германия придерживалась с эпохи Вильгельма и до 1945 г. В Германии большинство либерально-консервативных историков активно выступили против Фишера, в то время как группа молодых леволиберальных историков оказалась среди самых ярких его сторонников [61]. Министерство иностранных дел Германии даже отказалось финансировать лекционный тур Фишера по США, однако американские университеты вмешались в эту ситуацию и сами выделили средства на триумфальное турне немецкого профессора. Трансатлантическая поддержка Фишера была значительной и очень влиятельной. Немецкие историки, которые были изгнаны национал-социалистами и которым удалось сделать карьеру в Северной Америке, не только интеллектуально проложили путь для Фишера, но и стали его наиболее убежденными сторонниками [79].

Полемика вокруг работ Фишера была настолько интенсивной, возможно, не только потому, что была связана с памятью о начале Первой мировой войны, но и потому, что она касалась переосмысления господствовавшего исторического нарратива и национальной коллективной памяти в Германии. Даже после Второй мировой войны в среде немецкой исторической науки доминировало мнение о том, что национал-социализм берет свое начало в общем процессе развития западного массового общества и итальянского фашизма, а не коренится в самодельных немецких разработках или движениях. Представлялось, что национал-социалисты были ужасным отклонением от нормы в национальной истории Германии, заслуживающей гордости во всех остальных отношениях. Но в долгих 1960-х гг. молодое поколение немецких историков, менее заинтересованных в политической и теснее связанных с социальной историей, искало в прошлом своей страны ту преэминентность, которая могла бы помочь объяснить победу национал-социализма в Германии. Аргументы Фишера удачно перекликались с идеей «Особого пути Германии» (*Sonderweg*), которая привела к трем крупным катастрофам первой половины столетия: двум мировым войнам и Холокосту. Немецкий мемориальный ландшафт XX в. должен был подвергнуться глубокому влиянию этой исторической интерпретации. Также она

должна была доминировать на международном уровне с 1970-х гг. [2].

Данная трактовка событий прошлого периодически подвергалась сомнению в полемике историков в 1986–1987 гг., после воссоединения страны в 1990 г. и затем в 2010-х гг. в связи с ростом популизма со стороны правых сил. В 2012 г. австралийский историк, специалист по Германии и Европе Кристофер Кларк [17] по-новому интерпретировал начало Первой мировой войны. Он утверждал, что все крупные державы действовали практически как лунатики в этой войне. Но если в его истории и был злодей, то это была не Германия, а скорее Сербия, а также некоторые представители австро-венгерских имперских элит. С одной стороны, такая трактовка подверглась критике как ревизионистская, с другой — книга Кларка получила высокую оценку, поскольку при ее подготовке были использованы данные как основных, так и менее известных европейских архивов, чтобы в итоге вернуться к прежней интерпретации начала войны. «Лунатики» конечно же не вызвали столь же острых споров, как работа Фишера пятьюдесятью годами ранее. Почему так случилось? На мой взгляд, во многом это было связано с тем, что в Германии либеральные элиты достигли консенсуса о том, что позитивно акцентированная история Федеративной Республики после 1949 г. была ключевым якорем положительной идентичности новой Германии, тогда как период между 1871 и 1945 гг. рассматривался с большим скептицизмом. Этот консенсус не был нарушен работой Кларка.

А в других местах? Европа и весь мир стали менее заиклены на угрозах, исходящих от Германии, и вместо этого чаще воспринимали эту страну как гаранта европейской стабильности, мира и прав человека, а также как успешную модель экономического развития. Спустя почти семь десятилетий мемориальный ландшафт «мерзких немцев» уступает место мемориальному ландшафту «немцев второго шанса», которые полны решимости сделать все лучше, чем в первой половине XX в. (Фриц Штерн, как известно, утверждал, что немцы, объединившись в 1990 г., получили вторую попытку оказать более благотворное влияние на европейскую и мировую политику, чем в период между 1900 и 1945 гг. [80]). В Великобритании память

о Первой мировой войне вызвала гораздо больше общественных дебатов, чем в Германии, где интерес к Первой мировой войне должен был быть раскрыт исторической наукой к 2014 г. Конфликт между королевским профессором истории в Кембридже Ричардом Дж. Эвансом и тогдашним министром образования Майклом Гоувом в 2014 г. был связан с ролью мемориализации Первой мировой войны в Великобритании. Гоув от имени консервативного правительства намеревался сделать войну центральным элементом школьных учебных программ и выделить средства на то, чтобы каждый британский школьник мог посетить поля Фландрии, где Великобритания якобы защищала свободу Европы. Эванс же выразил сожаление по поводу того, что видел в этом проявление британского джингоизма (шовинистического национализма), имеющего антигерманские и антиевропейские корни [26]. Мемориальный ландшафт английского евроскептицизма пронизан особым взглядом на прошлое, который поддерживается, по общему признанию, небольшим разделом исторической науки [88]. Кроме того, вряд ли какая-либо нация выделяла такие большие средства на проведение памятных мероприятий по случаю годовщины Первой мировой войны, чем Австралия в 2014 г. Это доказывает, что мифы об АНЗАК сегодня все еще находятся в самом сердце австралийской национальной идентичности [82]. Дебаты в Великобритании и активная и яркая коммеморативная деятельность в Австралии свидетельствуют о том, что Первая мировая война по-прежнему играет важную роль в пейзаже памяти XX в. и что исторические науки по-прежнему являются важным его интерпретатором, хотя и в разной степени в разных частях мира.

Исторические науки и память о Второй мировой войне и Холокосте

Война за прекращение всех войн привела к новому, еще более страшному мировому конфликту спустя всего лишь двадцать лет после перемирия в ноябре 1918 г. В 1945 г. большая часть Европы лежала в руинах. Континент был свидетелем трагедии Холокоста, а в Японии атомные бомбы создали угрозу еще более ужасающей войны, чем та, которую они

помогли быстрее закончить. Наследие войны оставило множество травм, вокруг которых были построены дискурсы памяти после 1945 г. Исторические науки вновь были широко в них представлены [23, 52, 47]. Как и после Первой мировой войны, дискурсы памяти были сильно выражены на национальном уровне, но в то же время имели транснациональные измерения. В Японии память о жертвах атомных бомб способствовала забвению о преступной деятельности Японии на войне [72]. В Австрии после 1945 г. мы обнаруживаем аналогичную закономерность: воспоминания о первых жертвах гитлеровского экспансионизма в Европе использовались для забывания об австрийской преступной деятельности как неотъемлемом элементе рейха во Второй мировой войне [85].

Действительно, война стала важнейшим вектором памяти во многих европейских странах после 1945 г. [92]. В тех странах, которые были оккупированы гитлеровской коалицией, историческая наука обращалась к деятельности Сопrotивления, чтобы внести свой вклад в культуру памяти, которая часто имеет тенденцию забывать о фактах сотрудничества с оккупантами [50, 94]. Даже в Германии историческая наука после 1945 г. сделала акцент на движении Сопrotивления как на якобы «хорошей Германии» по сравнению с «плохими» национал-социалистами. Начиная с 1970-х гг. более самокритичный национальный исторический нарратив способствовал формированию в Германии иной культуры памяти, концепция «преодоление прошлого» («Vergangenheitsbewältigung») стала руководящей и в историческом образовании. Она была проникнута просвещенной верой в то, что такое образование создаст сообщество национальной памяти, которое будет невосприимчиво к соблазнам правых антидемократических сил в будущем [45]. Германия часто высоко оценивалась на международном уровне как глобальный образец подобных стараний, в которых исторические науки играли столь заметную роль. Немецкий пример, как правило, контрастирует с примером Японии, где историческая наука не смогла в такой же степени повлиять на культуру общественной памяти, чтобы она работала через прошлое. Ревизионизм вокруг жестоких преступлений, совершенных Японией во время Второй мировой войны, оказался гораздо сильнее, чем в Германии [9]. Поэтому

же в Японии практика празднования юбилеев, связанных с событиями Второй мировой войны, имеет тенденцию быть гораздо более антагонистичной, чем в Европе [93]. Там нет эквивалента европеизации исторической памяти, характерной для Европейского союза [74, гл. 3].

Исторические науки не только внесли свой вклад в национальные и транснациональные культуры памяти, связанные со Второй мировой войной, но и проложили путь новым транснациональным институтам, призванным обеспечить более безопасный мировой порядок после 1945 г. Историки попытались заложить основу Организации Объединенных Наций и вместе с философами помогли создать правозащитную традицию, которая должна была стать гарантией безопасности перед будущим коллапсом цивилизации [63]. В Западной Европе исторические науки сыграли важную роль в обеспечении зарождающегося Европейского союза историческим нарративом, который должен был преодолеть национализм, соперничество и насилие первой темной половины века и заменить их сотрудничеством, миром и взаимопониманием [87]. В коммунистической Восточной Европе исторические науки также построили нарратив, который оправдывал строительство социалистических обществ и создавал основу коммунистической культуры памяти, которая опять-таки была глубоко национальной по своей ориентации, но содержала транснациональный элемент [76].

Память о революциях

Воспоминания об интернациональном коммунизме основывались на большевистской революции 1917 г. в России. Действительно, для исторических наук революции часто были основополагающими нарративами, в которые можно включить не только классовые, но и национальные нарративы. Великая французская революция 1789 г., центральноевропейские революции 1848 г., младотурецкая революция 1908 г., иранская конституционная революция 1911 г., синайская революция в том же году в Китае, немецкая революция 1918 г., бархатные революции в Центральной и Восточной Европе 1989 г. — повсюду эти события становились центральным элементом

национальных сюжетных линий, написанных историческими науками [22]. Как и память о двух мировых войнах, память о революциях имела, с одной стороны, глубоко национальную траекторию, а с другой — транснациональную. Большевистская революция 1917 г. получила всемирный резонанс: выйдя из сильной революционной марксистской традиции XIX в., она была расценена как первая успешная пролетарская революция [68]. Восприятие в глобальном мире революционного марксизма заключалось в том, что он повсюду будет началом пролетарских революций. Память о русском Октябре должна была в разных частях света привести рабочий класс в действие. И поначалу это выглядело так, будто подобное может произойти с революциями в Германии, где была одна из сильнейших марксистских партий в мире, в Венгрии и Италии. Японские социалисты, пристально наблюдая за развитием событий в Европе, предсказывали, что мировая революция должна будет произойти и в их стране [71].

Когда пролетарские коммунистические революции потерпели поражение везде, кроме России, мемориальный ландшафт этой революции изменился. В каком-то смысле большевистская революция стала более мощным национальным событием, оправдывающим наращивание темпов строительства «социализма в отдельно взятой стране», по знаменитой сталинской формуле [20]. Но в глобальном мемориальном ландшафте марксистских революционеров она всегда оставалось центральным событием, обещая в конечном итоге успех и победу остальным движениям. Коммунистические истории всегда и повсюду будут ссылаться на образцовый характер большевистской революции. Она стала «матерью» всех революций XX в. [48]. Как таковая она заменила ключевое мемориальное событие для революционеров XIX в. — Парижскую коммуну, которая, хоть и продолжала оставаться важным наследием памяти, теперь чаще рассматривалась сквозь призму 1917 г. [10]. Между 1870–1890 гг. Коммуна фактически транснационализировалась. Центральное место в этом процессе занимал исторический труд «История Парижской коммуны 1871 года» (Histoire de la Commune de 1871) Проспера Оливье Лиссагарэ. Переведенный на английский язык не кем

иным, как Элеонорой Маркс, а затем и на многие другие языки, он имел решающее значение для транснационального принятия Коммуны и памяти о ней в различных частях Европы и мира. 18 марта, день, когда в Париже в 1871 г. появилось революционное правительство, стал центральным событием в международном социалистическом календаре, а Коммуна стала ключевым символом воображаемого сообщества мирового пролетариата.

На самом деле все восстания и мятежи, которые с удивительной частотой происходили в разных частях света в период между русской революцией 1905 г. и астурийской забастовкой шахтеров в Испании в 1934 г., совершались с опорой на воспоминания о революционных традициях XIX в. [8]. Именно тогда революционные движения обозначили три основных стремления: политическую свободу, национальный суверенитет и социальное равенство. В начале XX в. они переросли в три грозных десятилетия революций, которые завершились массовым кризисом либеральной демократии, фашистской реакцией и после Второй мировой войны биполярным миропорядком, в котором эти стремления остались источником конфликтов, происходивших главным образом в деколонизирующихся и развивающихся странах. Исторические науки принадлежали к числу ключевых интерпретаторов тех революционных движений и событий. Исследователи в последнее время обращаются к вопросам памяти, чтобы понять, как конкретные воспоминания о предшествующих событиях и личностях повлияли на ход общественных движений, начиная с женского движения в Индии и заканчивая экологическим движением в Германии [7].

Общественные движения, конечно, часто находились в основе революций, которые были насильственными событиями, создающими мощные мемориальные ландшафты. Они базируются в том числе и на большом количестве исторических работ, которые придали значение революциям и повлияли на более широкую память о них. Но целый ряд ненасильственных видов борьбы также породил формы культурной памяти, которые легли в основу действий общественных движений XX в. И исторические науки, уделяя внимание этой борьбе, были одними из ключевых создателей этой памяти [15]. Память о ненасильственной борьбе

в Индии восходит к «Соляному походу» Ганди. Британский феминизм восстановил память о суфражистках. Если наследие общественного движения вызывает серьезные споры, то борьба памяти становится политизированной, как это видно из современных дебатов об оценке объединения независимых профсоюзов «Солидарность» в Польше. Во всех трех случаях именно история внесла важный вклад в формирование дискурсов памяти и споров о них.

Воспоминания об общественных движениях также могут умышленно уничтожаться и замалчиваться. В Западной Германии, к примеру, антикоммунизм был настолько силен в начале 1950-х гг., что память о роли коммунизма в борьбе против национал-социализма была фактически заглушена и исключена из всех официальных торжеств, посвященных сопротивлению. Ключевые историки немецкого Сопротивления, такие как Герхард Риттер или Ганс Ротфельс, не упоминали о роли коммунистов в своих трудах [2, 42]. Память о коммунизме пришлось возродить в 1960-х гг., когда левое студенческое движение вновь проявило к нему интерес. Работы историка Ганса Моммзена повлияли на восстановление роли коммунистов в борьбе с национал-социализмом и проблематизацию героического образа консервативного Сопротивления в Западной Германии, который доминировал в общественной памяти в 1950-е гг.

Исторические науки и память о гражданских войнах: Испания и Югославия

Воспоминания о русской революции 1917 г. и о коммунизме отчетливо вырисовывались в ландшафтах памяти о гражданских войнах XX в. Гражданские войны были, конечно, глобальным явлением, но, как исследователь, специализирующийся на истории Европы, я приведу два примера с европейского континента — испанскую и югославскую гражданские войны. Обе они оставили множество спорных воспоминаний, которые были подкреплены исторической наукой. После победы франкизма в гражданской войне исторические науки внутри Испании построили историю этого противостояния как крестового похода

против международного коммунизма, сепаратистов, евреев, масонов. «Хорошая Испания» и ее основные ценности — католицизм и единство — должны были быть защищены от «злой Испании». Во франкистских дискурсах памяти прославлялось величие испанской нации, ее место определялось в ряду славной национальной (националистической) истории [66]. Но ученые, которые были изгнаны из страны, особенно те, кто оказался во Франции и Северной Америке, создали исторические нарративы, ставшие основой постфранкистского мемориального ландшафта новой испанской демократии. Так, Центр исследований при Университете По на юге Франции является хорошим примером того, как эмигрировавшие историки предоставили контрнарратив официальному испанскому дискурсу, на котором после 1976 г. можно было построить другую память о гражданской войне [13].

Однако переход мемориального ландшафта от Испании франкистской к демократической был далеко не простым. Фактически это непрерывный процесс, продолжавшийся более 40 лет после смерти Франко. Когда в июле 2018 г. социалистическое правительство Испании объявило, что прах Франко должен быть перенесен из Долины павших, фашистского мемориала, воздвигнутого в память о погибших в гражданской войне, это вызвало серьезные споры [42, 34]. Историческая наука породила различные повествования, легшие в основу как действий социалистического правительства, так и оппозиции со стороны Народной партии и других. Академическое сообщество в Испании и по сей день остается глубоко расколотым в отношении своей политики, а руководство Центральным исследовательским агентством в Испании (CISC) регулярно переходит из рук в руки, когда меняется правительство. Трудности примирения с франкистским прошлым в Испании во многом связаны с характером перехода к демократии в 1970-х гг. После окончания диктатуры Франко практически вся франкистская элита оставалась нетронутой и часто находилась у власти из-за опасений, что дополнительные меры могут привести к очередной гражданской войне. В сердце испанской академической науки, в Центральном исследовательском агентстве (CISC), бывшем при Франко оплотом правого движения

Opus Dei, после перехода к демократии ничего не изменилось. Поэтому историческое сообщество никогда не подвергалось чистке, и те, кто возвращался из эмиграции после 1976 г., а также молодое поколение исследователей, которых они обучали, неуютно сосуществовали с более консервативными представителями и их учениками.

В таких условиях неудивительно, что память об антифашистской борьбе в Испании долго не могла восстановиться после переходного периода. Большинство ранних инициатив по ее восстановлению в стране исходило от низовых движений, в которых были широко представлены группы, занимающиеся «историей снизу» (history-from-below-type groups). В 1990-е гг. писатели и журналисты вышли на передний план, чтобы проблематизировать то, что многие воспринимали как забытую память об испанском республиканизме. Официальных попыток, как внутри исторической науки, так и за ее пределами, установить прочную память об антифашизме пришлось ждать чуть ли не целое поколение [77]. Не помогло и то, что в памяти о транснациональной антифашистской борьбе в Испании, то есть в истории интернациональных бригад, доминировала коммунистическая память, подкрепленная коммунистическими нарративами, которые находились в глубоком кризисе после падения коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе в начале 1990-х гг. [60]. Историческая наука всерьез начали закладывать основы более демократичной памяти об Испании только с начала 1990-х гг. — почти через поколение после установления демократии. Важную роль здесь сыграла, помимо прочих дисциплин, антропология, сопровождавшая процессы открытия в начале 2000-х гг. захоронений времен гражданской войны. Эксгумации послужили мощным толчком к формированию республиканской памяти и зачастую вызывали дебаты о коллективной памяти в Испании. В то время как правые политики обвиняли сторонников эксгумации в том, что они ставят под угрозу якобы существующий дух примирения, сопровождавший процесс перехода к демократии, левые постоянно искали смысл и репрезентативность этих эксгумаций. Факт, что эксгумации и перезахоронения были политизированы левыми в поисках новой коллективной памяти

об Испании, стал главной причиной конфликта между Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и «Podemos», новой левой партией. Антропология сыграла важную роль в производстве знаний о мемориальных практиках, связанных с местами эксгумации [27].

В Боснии, как и в Испании, антропологи также принимают участие в создании смыслов вокруг открытия могил гражданской войны 1990-х гг. [43]. Исторические науки в Югославии сыграли важную роль в закладке фундамента мемориального ландшафта, который подготовил гражданскую войну задолго до ее начала. Сосредоточившись на истории своих республик, исследователи внесли вклад в формирование дискурса, который способствовал созданию национальных мемориальных ландшафтов в отдельных социалистических республиках [12]. После смерти Тито особые политические условия падения коммунизма вызвали социальную напряженность, которая могла усилиться на зарождающихся мемориальных ландшафтах, восходящих к 1980-м гг. Несколько представителей исторического сообщества обеспечили враждующие группировки во время гражданских войн в Югославии нарративами коллективной памяти, которые обосновывали требования о разьединении или, как в случае с сербами, единстве. Один из самых известных примеров — бывший президент Хорватии Франьо Туджман. Он сражался вместе с Тито во время Второй мировой войны и дослужился до генерала Югославской народной армии. Уйдя в отставку, занялся историей, возглавил Институт истории рабочего движения в Загребе, а затем конфликтовал с коммунистами и даже подвергался тюремному заключению как диссидент. В 1990 г. он опубликовал книгу, в которой предпринял попытку реабилитировать хорватское фашистское движение «Усташи». Также его труды были посвящены созданию нового главенствующего национального нарратива для Хорватии. Его исторические работы послужили основой для создания национального мемориального ландшафта, который лежал в основе позиции Хорватии в гражданской войне и в конечном итоге привел Туджмана к посту президента в новой хорватской республике [33].

Гражданские войны в Югославии оставили государствам-преемникам резко

антагонистичные и националистические культуры памяти. Но югославские войны также привели в беспорядок и мемориальный ландшафт Европы. В конце концов, это противоречило одному из самых влиятельных дискурсов памяти внутри ЕС, а именно тому, что союз была гарантом мира после Второй мировой войны. Очередной вооруженный конфликт в том самом месте, где началась Первая мировая война, массовые убийства мирных жителей в Сребренице и других местах, бомбардировка Белграда со стороны НАТО — все это, казалось, противоречит одному из центральных столпов мемориального ландшафта Европейского союза. Историческая наука ответила на этот вызов переоценкой значимости национального государства и принятием европеизации в мире после окончания холодной войны [5]. Цель ЕС, сформулированная в Маастрихтском договоре 1992 г., — работать над еще более тесным политическим союзом — теперь воспринималась с большим скепсисом. При происходящих процессах глобализации и европеизации способность национального государства мобилизовать эмоции граждан вокруг проблемы национальной идентичности оказалась недооцененной [28, 100–13]. Историческая наука раньше не воспринимала всерьез силу этих эмоций, поскольку ее представители принадлежали к транснациональной элите, дистанцировавшейся от чувства национальной принадлежности. В рамках исторической науки, как специфического сообщества памяти, можно было представить себе верховенство европейских транснациональных форм идентичности, дискредитировавших, по мнению многих представителей этого сообщества, более старые формы национальной идентичности. Гражданские войны в Югославии стали важным шагом на пути к пересмотру данных предположений.

Войны в Югославии также спровоцировали переселение беженцев в другие части Европы, что стало мощным напоминанием в конце XX в. о том, что это был век этнических чисток и миграционных перемещений. В некотором отношении история мигрантов сопровождает человечество с самых его истоков. Беженцы и мигранты часто образуют мощные сообщества памяти, тем не менее, как отмечал Жерар Нуриэль, во Франции память

о них редко попадает в основную тенденцию развития национальных культур памяти. Поэтому в своей работе для семитомного труда Пьера Нора «Места памяти» Нуриэль указал, что память о мигрантах не является частью национальной памяти [64]. Редакторы немецкого эквивалента «Мест памяти» во введении к работе также отмечают, что память мигрантов не вошла в коллективную память Германии [25, 22]. Только в последнее время историческая наука начала содействовать интеграции памяти мигрантов и беженцев в местные, национальные и транснациональные формы коллективной памяти [29].

Кроме того, гражданские войны в Югославии также стали резким напоминанием о власти религии над дискурсами памяти: католицизм в Хорватии, православие в Сербии и ислам в Боснии и Герцеговине поспособствовали столкновению наций, которое в то же время было и столкновением религий [73]. На другом конце Европы католицизм и протестантизм подпитывали гражданскую войну, эвфемистично называемую «смутой», в Северной Ирландии, происходившую между 1969 и 1994 гг. В мирном процессе после 1994 г. историки своей работой способствовали укреплению новой коллективной памяти о примирении [54]. В XIX в. власть религии над политикой была параллельна власти религии над историческими науками, — многие историки обучались на священников или происходили из семей богословов [35]. Однако в течение XX в. профессия историка стала более светской. В католическом мире исследователи часто дистанцировались от религии и писали историю, которая скептически относилась к влиянию католической церкви. В протестантском мире историческое сообщество долгое время сохраняло своеобразный культурный протестантизм, но со временем и его представители все больше отдалялись от церкви. В связи с увеличивающимся разрывом между историческими науками и институционализированной религией история также способствовала возникновению представления о XX в. как о веке секуляризации. Несомненно, начиная с 1960-х гг. традиционные церкви потеряли влияние на общество и его моральные ориентиры, но лишь к концу XX в. историки пришли к мысли, что формы секуляризации могут быть

параллельны религиозным возрождениям [32]. Уход от западноцентричной идеи истории и более глобальный взгляд на идею секуляризации усилил скептицизм. В последнюю треть XX в. феноменальный рост исламизма наблюдался во многих странах мира, например в Африке или Латинской Америке, однако в некоторых частях Азии именно католицизм и протестантизм стали движущими силами, наращивающими свои мощь и значение. А яростный консервативный протестантизм в США стал политически важным для республиканской партии с 1980-х гг. Переосмысление исторической наукой тезиса о секуляризации привело к появлению большого количества исследований, указывающих на непреходящее значение религии для общества и государства, что, в свою очередь, одновременно и проблематизировало, и укрепило коллективную память о религии во многих частях мира [46].

Память о деколонизации в годы холодной войны и исторические науки

Подъем политического ислама, который привлек внимание всего мира после иранской революции 1979 г., был также ответом на неудавшуюся деколонизацию. В течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны антиколониальная борьба, восходящая к концу XIX в., привела к созданию большого количества новых независимых национальных государств. Их правительства, в которых часто были представители антиколониальных движений, разработали дискурс и практику модернизации, которая в конечном итоге была нацелена на то, чтобы догнать и обогнать Запад. Но практически везде эти проекты потерпели неудачу, и память об этом преследовала политику данных постколониальных государств. В исламском мире призраки провалившейся модернизации укрепили политический ислам. Исторические науки на Западе начали обращать внимание на исламские движения, чтобы понять возникновение этих новых сообществ памяти, в то время как в самом исламском мире борьба между светским и религиозным крылом в академическом сообществе привела к появлению ресурсов как

для про-, так и для антиисламских сообществ памяти [16].

История деколонизации была неразрывно связана с культурами памяти об антиимпериализме и антиколониализме, а также соотносилась с попытками хотя бы частично оправдать проекты западного колониализма и империализма. Огромное влияние идей литературоведа Эдварда Саида об ориентализме в исторической науке, а также их разносторонняя критика демонстрируют силу постколониального воображения в исторических науках и, в свою очередь, их влияние на практику памяти, связанную с памятью о колониализме и империализме [55]. Чрезвычайно популярные работы историка Нила Фергюсона о Британской и Американской империях были подвергнуты критике за оправдание империализма. Попытка возродить память о восстании Мау-Мау в Кении против британского колониального правительства из критического прочтения имперских архивов вызвала много споров не только среди сообщества историков [24]. С другой стороны, имперская память о Британии, а точнее об Англии, побудила некоторых исследователей оплакивать упадок некогда великой державы. Ее современное положение промежуточного государства в Европейском союзе может быть противопоставлено, например, как это сделал историк Дэвид Старки, бывшей имперской славе и Британскому содружеству [78]. Память об этом была также мобилизована сторонниками Брексита в их успешной кампании по выходу Великобритании из ЕС в 2019 г. [30].

Но исторические науки и общественная память о колониализме и империализме были сильно взаимосвязаны не только в Британии. Память об Алжире и алжирской войне стала преследовать французскую историю, и Бенджамин Стора среди прочих своими научными трудами оказал влияние на публичные формы коммеморации алжирской войны во Франции [57]. Вновь открытая немецкими исследователями колониальная история Германии в конце XX в. активизировала общественную мемориальную культуру, которая нашла свое выражение в дебатах по возвращению человеческих останков из берлинской больницы «Шарите» в африканские страны [62].

В самом постколониальном мире предпринимались многочисленные попытки

использовать исторические науки в качестве основы для мемориальных культур постнезависимого национализма и транснационализма. Так, например, Шейх Анто Диоп и Дакарская школа истории внесли свой вклад в формирование памяти об элитарной культуре Древней Африки, которую можно с гордостью представить как предшествующую и равную древним европейским высоким культурам. История трансатлантической работорговли также использовалась для формирования панафриканской исторической памяти [84]. А на индийском субконтиненте часть представителей академического сообщества тесно сблизилась с партией Конгресса и написала историю Индии, поддерживая националистическую культуру памяти, одобряя стратегии модернизации, предлагаемые партией в постнезависимый период [14]. В настоящее время Конгресс ведет настоящую войну памяти с правящей Индийской народной партией и ее сторонниками среди историков за общественную память и направление современной политики в стране. Тем временем вековая вражда между мусульманами и индуистами, уходящая корнями как в память, так и в коммуналистскую историографию, продолжает уносить жизни на индийском субконтиненте [11, 34–7].

В дискуссиях по вопросам общественной памяти историки также часто опираются на произведения писателей или кинематографа. Так, документальный фильм Марселя Офюльса «Печаль и скорбь» (1969) вызвал огромный интерес к изучению фактов сотрудничества французского правительства с национал-социалистами во время Второй мировой войны [36]. Аналогичным образом долгое время замалчиваемая история массовых убийств и антикоммунистических репрессий в Индонезии в 1960-х гг. стала главной темой документального фильма Джошуа Оппенхаймера «Акт убийства» (2012). Картина вызвала большой исследовательский интерес к описываемым событиям со стороны исторического сообщества за пределами Индонезии. В самой же стране репрессивный политический режим не позволяет актуализировать эти события в общественном сознании или продолжает искажать их, чтобы избежать коммунистического переворота [58].

События в Индонезии в 1960-х гг. отражали глобальную тенденцию, связанную

с борьбой времен холодной войны. Антикоммунизм был важнейшим аспектом западной исторической культуры во время активной фазы противостояния в 1950-х и 1960-х гг. Точно так же антикапитализм и поддержка антиимпериалистических освободительных движений были неотъемлемой частью глобальных коммунистических исторических культур. В целом они разжигали и поддерживали многие кровавые гражданские войны в колониальных и постколониальных государствах по всему миру, одним из ужасных примеров которых была Индонезия. Однако начиная с 1960-х гг. историки на Западе все больше расходились во мнениях относительно достоинств антикоммунизма, появилось направление «анти-антикоммунизм», представители которого пытались восстановить некую трехмерность картины «коммунистического» на Западе. Они же впоследствии поддержали разрядку и культуру общественной памяти, которая стремилась преодолеть холодную войну через диалог с коммунистическими представителями. В то же время на Западе продолжалась старая антикоммунистическая традиция среди исторических наук и широкой культуры общественной памяти. В коммунистических режимах также наблюдались признаки раскола между воинствующей фракцией, цепляющейся за жесткую антикапиталистическую, антифашистскую и антиимпериалистическую мемориальную культуру и историческую интерпретацию, и реформистское коммунистическое крыло, стремящееся вступить в разговор с капиталистическим Западом [41].

Диктаторские режимы коммунизма допускали гораздо меньший плюрализм мнений, чем это было характерно для капиталистического Запада, но все же встречались исследователи, ставящие под сомнение путь коммунизма к построению социалистических обществ и достижению социального равенства и освобождения рабочего класса. Подобные сомнения при коммунизме могли легко привести к потере работы, лишению свободы, а иногда, в особо критических ситуациях, даже к гибели людей [49]. Подвергать сомнению доминирующие исторические нарративы и общественные мемориальные культуры на Западе, как правило, было менее опасно, но стремление преодолеть мировую поляризацию

после холодной войны также сопровождалось там более самокритичным подходом к оценке достижений капитализма и либеральной демократии. Способность Запада допускать большее расхождение во взглядах между исторической наукой и культурами общественной памяти обеспечила капиталистическим режимам большую стабильность. А вот увеличивающийся разрыв между памятью гражданского общества и памятью государства в коммунистических режимах в конечном итоге способствовал падению коммунизма в Восточной Европе и массовому кризису режима в Китае, который был предотвращен только благодаря применению массового насилия против протестующих студентов в Пекине летом 1989 г. В целом истории деколонизации доказывают тесную взаимосвязь между исторической наукой и культурами общественной памяти.

Воспоминания о классе, расе и гендере в исторических науках эпохи деиндустриализации

До этого момента большая часть нашего обсуждения взаимосвязи исторических наук с широкой коллективной памятью была сосредоточена на национальной и транснациональной памяти, связанной с войнами, революциями и деколонизацией. Однако, обсуждая их, мы также затронули воспоминания о социальном классе. Они в значительной степени выходят на первый план, когда мы обращаемся к влиянию исторических наук на память об индустриализации и деиндустриализации. Начиная с 1960-х гг. деиндустриализация серьезно изменила промышленные регионы во многих частях мира. Она опустошила их, привела к безработице и нищете те слои населения, которые прежде были состоятельными рабочими. Это положило конец недолговечной иллюзии о том, что люди получают на всю жизнь стабильную работу на фабриках, функционирующих в соответствии с принципами Форда и Тейлора, которые казались невосприимчивыми к экономическому кризису. История заставила исследователей задуматься о значении этих процессов и способах достижения таких форм структурных изменений, которые предотвратили бы уменьшение численности

населения и опустошение целых регионов в результате деиндустриализации [37].

Во многих частях деиндустриализирующегося мира исторические науки внесли свой вклад в культуры общественной памяти, окружающие материальные и нематериальные остатки индустриального прошлого. Промышленное наследие может способствовать укреплению региональной идентичности [89], а также может стать основой идентичности классовой [75]. И это ни в коем случае не ситуация «или-или». Историческая наука помогла укрепить саморефлективную практику памяти активистов в деиндустриализирующихся регионах. Если взять пример Рурской области в Западной Германии, то исторические науки сыграли там важную роль в поддержании городского общественного движения в 1960-е и 1970-е гг. Активисты защищали промышленное наследие региона от попыток избавиться от него сразу же после закрытия предприятий. Когда это низовое общественное движение было одобрено и воспринято корпоративной политической культурой Рура в 1980-е и 1990-е гг., мощные политические, промышленные и профсоюзные интересы обеспечили выживание целых ландшафтов индустриального наследия. Также они призвали историческую науку поддерживать коммеморативные практики, которые укрепили региональную идентичность и веру в успех структурной трансформации региона из успешного индустриального в еще более успешный постиндустриальный.

Нигде в мире промышленный ландшафт прошлого не сохранился так безукоризненно, как в Рурской области; нигде больше он не опирается так сильно на динамичную историческую культуру [4]. В других местах происходили иные истории, но взаимосвязь между историческими науками и формой конкретной мемориальной культуры, окружающей индустриализацию и деиндустриализацию, остается ярко выраженной. В «ржавом поясе» Северной Америки, например, мы находим гораздо меньше поддержки сверху промышленному наследию. Вместо этого существуют многочисленные местные инициативы по сохранению ценностей рабочего класса, которым угрожает исчезновение в результате деиндустриализации [38]. В Великобритании история деиндустриализации неразрывно связана

с противостоянием правительств Маргарет Тэтчер и профсоюзами, что даже вылилось в забастовку шахтеров 1984–1985 гг., которая местам напоминала гражданскую войну. Историческая наука Южного Уэльса сыграла важную роль в поддержке местных инициатив по сохранению хотя бы нескольких объектов наследия горнодобывающей промышленности и созданию мемориальной контркультуры, которая бы защищала память о жизни рабочего класса в Южном Уэльсе [3].

В посткоммунистической Восточной Европе деиндустриализация проходила в мире после холодной войны, в котором тяжелая промышленность прочно ассоциировалась с коммунистической диктатурой. В исторических науках и в широкой мемориальной культуре посткоммунистической Европы индустриальное наследие получило мало поддержки. Истории социальных классов были тесно связаны со стратегиями легитимации дискредитированных коммунистических режимов [86]. Хотя история деиндустриализации в подавляющем большинстве своем является историей глобального Севера, она не ограничивается ею. Например, во многих частях Китая была проведена деиндустриализация, в то время как в других частях страны быстро развивалась промышленность. В тех районах страны, где процессы деиндустриализации можно связать с героической памятью о коммунистическом прошлом, процветают усилия по сохранению наследия [51]. Но там, где эти воспоминания больше связаны с историей русского и японского империализма, как на северо-востоке Китая, историческая наука изо всех сил пытается стимулировать создание мемориальной культуры вокруг промышленного наследия [69]. В целом мемориальные культуры связаны с тем, какими историями об индустриализации и социально-экономических последствиях деиндустриализации можно гордиться. Здесь историческая наука играет важную роль: предоставляет истории успеха или неудачи, на которых затем могут основываться различные коммеморативные практики. Роль, которую играет класс в этих повествованиях, сильно различается в разных деиндустриализирующихся регионах мира [6].

То же самое относится и к роли расы. Повсеместно процессы индустриализации

тесно связаны с процессами миграции различных народностей. В США в XX в. миллионы чернокожих рабочих переселились с юга в промышленные центры севера, что привело к сложным расовым отношениям на фабриках и в окрестностях этих городов. Когда деиндустриализация ударила по «ржавому поясу», расовый вопрос оказался очень актуален. Исторические науки внесли свой вклад в изучение тех расовых проблем [81], которые, в свою очередь, повлияли на мемориальные практики общин чернокожих рабочих. Разумеется, память о расе и исторические науки, лежащие в ее основе, не могут ограничиваться деиндустриализацией. Изучение расы в исторической науке внесло большой вклад в культуру памяти о правозащитном движении против режима апартеида в США и Южной Африке [70, 19]. Вопросы расы также занимали центральное место в истории и войнах памяти, связанных с коренными народами в различных частях мира. Если взять пример Австралии, то исторические исследования обществ и культуры аборигенов стали активно развиваться в последние тридцать лет. Это способствовало поддержанию мемориальной культуры коренных народов Австралии, что существенно изменило культурный ландшафт страны, даже если политическая и социально-экономическая дискриминация аборигенов продолжилась [67].

Вопросы классовой и расовой принадлежности тесно связаны с гендерной проблематикой в ряде мемориальных практик, в поддержании которых историческая наука вновь важна. Это справедливо в отношении памяти об индустриализации и деиндустриализации, которая на протяжении многих десятилетий принадлежала исключительно мужчинам, особенно если мы посмотрим на типично «мужские» отрасли промышленности, такие как горнодобывающая и сталелитейная [18]. Однако за последние десятилетия историки, специализирующиеся на женской и гендерной проблематике, предоставили обширную информацию о гендерных аспектах трудовой деятельности и социальных отношений в общинах, а также о том, какую роль женщины играли в этих обществах. Подобные исследования повлияли на практику публичных коммемораций во многих бывших промышленных регионах [83].

И если мы посмотрим на женское движение, то обнаружим между его культурой памяти и историческими науками тесную связь. Исследовательницы, пишущие женскую историю, также способствовали увековечиванию памяти о борьбе женщин за права и эмансипацию. Коллективная память о суфражистках в Великобритании, например, тесно связана с историческими науками, которые способствуют формированию прочных знаний о движении [15]. Женщины и гендерные исследователи часто выступают в защиту памяти. Например, британский социолог и феминистка Шейла Руботэм была одновременно видным историком трансатлантического англоязычного женского движения и фемактивисткой, борющейся за женские права. Будучи социалисткой и участницей кампании за ядерное разоружение, она является типичным примером мультиактивистки, участвовавшей в различных прогрессивных общественных движениях, основанных на знаниях, полученных из исторической науки [91].

Вывод

На протяжении всего XX в. мы отслеживали активизацию исторической науки в самых разных областях всего мира. Поскольку она была глубоко национализирована в XIX в., неудивительно, что ее влияние на память в значительной мере связано с национальной памятью. Особое значение в рамках национальной коллективной памяти часто имеют войны, гражданские войны и революции, и мы привели целый ряд примеров того, что исторические знания лежат в основе культуры общественной памяти, связанной с этими событиями. Однако с 1980-х гг. исторические науки стали гораздо менее ориентированными на национальные рамки, и последующее обращение к транснациональным темам также оказало значительное влияние на формирование мемориальных ландшафтов [21, 1]. Например, история деиндустриализации смогла поддержать индустриальное наследие и практики сохранения памяти о самих процессах деиндустриализации. Истории расы, пола и религии поддерживают определенные формы общественной памяти в социальных движениях, которые связаны с этими проблемами. Они могут иметь

национальную направленность, демонстрируя сохранение культуры национальной памяти даже в эпоху, когда исторические науки все больше отходят от этих рамок, или могут быть преднамеренно транснациональными по своей направленности. В целом, как призвана показать эта краткая статья, исторические науки сыграли решающую роль в формировании памяти о ключевых событиях XX в. во многих частях мира. Еще многое предстоит сделать,

чтобы пролить свет на важность производства исторических знаний для конкретных культур памяти. В частности, взаимодействие с другими активистами памяти из сферы политики, культуры, науки, средств массовой информации; в предстоящие годы стоит еще тщательнее изучить вопрос о взаимосвязи всех дисциплин между собой [56].

Перевод с английского языка
Д. А. Аникина

References

1. Assmann, A., Conrad, S., eds. (2010). *Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
2. Berger, S. (2003). *The Search for Normality: National Identity and Historical Consciousness in Germany since 1800*. Oxford: Berghahn Books, 2nd rev. edn.
3. Berger, S. (2008). "Von 'Landschaften des Geistes' zu 'Geisterlandschaften': Identitätsbildungen und der Umgang mit dem industriekulturellen Erbe im südwalisischen Kohlerevier". *Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen*, 39, 49–66.
4. Berger, S. (2019). "Industrial Heritage and the Ambiguities of Nostalgia for an Industrial Past in the Ruhr Valley in Germany". *Labor*, 16 (1): 37–64.
5. Berger, S., Conrad, C. (2015). *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
6. Berger, S., Pickering, P. (2018). "Regions of heavy industry and their heritage — between identity politics and 'touristification': where to next?". In Christian Wicke, Stefan Berger and Jana Golombek (eds.), *Regional Identity and Industrial Heritage*, 214–35. London: Routledge.
7. Berger, S., Scalmer, S., Wicke, C. (2019). *History, Memory and Social Movements*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
8. Berger, S., Weinbauer, K. (2020). "Making sense of a Period of Global Revolutions, 1905–1934". *Special issue of the International Review of Social History*.
9. Berger, T. U. (2012). *War, Guilt, and World Politics after World War II*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Bos, D. (2014). *Bloed en Barricaden. De Parijse Commune Herdacht*. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
11. Brass, P. R. (2003). *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India*. Seattle: University of Washington Press.
12. Brunnbauer, U. (2004). *(Re-)Writing History. Historiography in South-East Europe After Socialism*. Münster: Lit.
13. Caussimont, G. (1980). "Diez años del 'Centre de Recherches Hispaniques' de la Universidad de Pau". In Manuel Tuñón de Lara et al. (eds.), *Historiografía Española contemporánea*, 3–43. Madrid: Siglo XXI.
14. Chandra, B. (1986). "Nationalist Historians' Interpretations of the Indian National Movement". In Sabyasachi Bhattacharya and Romila Thapar (eds.), *Situating Indian History*. Delhi: Oxford University Press.
15. Chidgey, R. (2015). "A Modest Reminder": Performing Suffragette Memory in a British Feminist Webzine". In Anna Reading and Tamar Katriel (eds.), *Cultural Memories of Non-Violent Struggles. Powerful Times*, 52–70. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
16. Choueiri, Y. M. (2003). *Modern Arab Historiography: Historical Discourse and the Nation State*. London: Routledge.
17. Clark, C. (2012). *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. London: Penguin.
18. Clarke, J. (2015). "Closing Time: Deindustrialization and Nostalgia in Contemporary France". *History Workshop Journal*, 79 (1): 107–25.
19. Coombes, A. E. (2003). *History after Apartheid: Visual Culture and Public Memory in a Democratic South Africa*. Durham: Duke University Press.
20. Corney, F. C. (2004). *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution*. Ithaca: Cornell University Press.
21. De Cesari, C., Rigney, A., eds. (2014). *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin: de Gruyter.
22. Deneckere, G., Welskopp, T. (2008). "The 'nation' and 'class': European national master-narratives and their social 'other'". In Stefan Berger and Chris Lorenz (eds.), *The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories*, 135–70. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
23. Echternkamp, J., Martens, S. (2010). *Experience and Memory: the Second World War in Europe*. Oxford: Berghahn Books.
24. Elkins, C. (2005). *Imperial Reckoning: the Untold Story of Britain's Gulag in Kenya*. New York: Henry Holt.
25. François, E., Schulze, H. (2001). "Einleitung". In François E., Schulze H. (eds.), *Deutsche Erinnerungsorte*, 9–24, vol. 1. Munich: C. H. Beck.
26. Evans, R. J. (2014). "Michael Gove Shows His Ignorance of History—Again". *The Guardian*, 6 Jan., <https://www.theguardian.com/books/2014/jan/06/richard-evans-michael-gove-history-education> (mode of access: 21.08.2018).
27. Ferrándiz, F. (2017). "Afterlife: a Social Autopsy of Mass Grave Exhumations in Spain". In Ofelia Ferrán and Lisa Hilbing (eds.), *Legacies of Violence in Contemporary Spain: Exhuming the Past, Understanding the Present*, 23–43. London: Routledge.
28. Gerrits, A. (2016). *Nationalism in Europe since 1945*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

29. Glynn, I., Kleist, J. O., eds. (2012). *History, Memory and Migration. Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
30. Gust, O. (2016). "The Brexit Syllabus: British History for Brexiteers". *History Workshop*, 5 September, <http://www.historyworkshop.org.uk/the-brexit-syllabus-british-history-for-brexiteers/> (mode of access: 29.08.2018).
31. Halbwachs, M. (1925). *Les Cadres Sociaux de la Mémoire*. Paris: Presses Universitaires de France.
32. Hartney, C., eds. (2014). *Secularisation: New Historical Perspectives*. Cambridge: Cambridge Scholars.
33. Hayden, R. (1994). "Recounting the Dead. The Rediscovery and Redefinition of Wartime Massacres in Late and Post-Communist Yugoslavia". In Rubie S. Watson (ed.), *Memory, History and Opposition under State Socialism*, 167–85. Santa Fe/ New Mexico: School of American Research Press.
34. Hepworth, A. (2016). "Site of Memory and Dismemory: the Valley of the Fallen in Spain". In Simone Gigliotti (ed.), *The Memorialization of Genocide*, 463–85. London: Routledge.
35. Hermann, I., Metzger, F. (2012). "A Truculent Revenge: the Clergy and the Writing of National History". In Ilaria Porciani and Jo Tollebeek (eds.), *Setting the Standards: Institutions, Networks and Communities of National Historiography*, 313–29. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
36. Hewitt, L. D. (2008). *Remembering the Occupation in French Film: National Identity in Post-War Europe*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
37. High, S. (2003). *Industrial Sunset: the Making of North America's Rustbelt, 1969–1984*. Toronto: University of Toronto Press.
38. High, S., MacKinnon, L., Perchard, A. (eds.) (2017). *The Deindustrialised World: Confronting Ruination in Postindustrial Places*. Vancouver: UBC Press.
39. Hobsbawm, E. J. (1994). *The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914–1991*. London: Penguin.
40. Herwig, H. H. (2003). "German". In Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig (eds.), *The Origins of World War I*, 150–87. Cambridge: Cambridge University Press.
41. Jarausch, K., Osterman, C. F., Etges, A. (eds.) (2017). *The Cold War: Historiography, Memory, Representation*. Berlin: de Gruyter.
42. Jones, S. (2018). "Franco's Family Fights PM over Removal of Dictator's Remains". *The Guardian*, 20 July, <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/20/franco-family-refuses-facilitate-removal-dictator-spain> (mode of access: 29.08.2018).
43. Jugo, A., Wagner, S. E. (2017). "Memory Politics and Forensic Practices: Exhuming Bosnia Herzegovina's Missing Persons". In Z. Dziuban (ed.), *Mapping the 'Forensic Turn': Engagement with Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond*, 195–213. Vienna: New Academic Press.
44. Kansteiner, W. (2004). "Postmoderner Historismus: das kulturelle Gedächtnis als neues Paradigma der Kulturwissenschaften". In Friedrich Jäger und Jürgen Straub (eds.), *Handbuch der Kulturwissenschaften, Band 2: Paradigmen und Disziplinen*, 119–39. Stuttgart: Metzler.
45. Kansteiner, W. (2006). "Loosing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Nazism, World War II and the Holocaust in the Federal Republic of Germany". In Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio Fogu (eds.), *The Politics of Memory in Post-War Europe*, 102–46. Durham: Duke University Press.
46. Kaschuba, W. (2010). "Iconic Remembering and Religious Icons: Fundamentalist Strategies in European Memory Politics". In Małgorzata Pakier and Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance*, 64–78. Oxford: Berghahn Books.
47. Kim, M. (2015). *Routledge Handbook of Memory and Reconciliation in East Asia*. London: Routledge.
48. Klymenko, O. (2018). "Constructing Memoirs of the October Revolution in the 1920s". In Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec (eds.), *Historical Memory of Central and East European Communism*, 260–73. London: Routledge.
49. Kovács, F. K., Labov, J. (eds.) (2012). *From Samizdat to Tamizdat: Transnational Media During and After Socialism*. Oxford: Berghahn Books.
50. Lagrou, P. (2000). *The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe 1945–1965*. Cambridge: Cambridge University Press.
51. Lam, T. (2019). "Ruins for Politics: Selling Industrial Heritage in Postsocialist China's Rustbelt". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts. Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 251–69. Oxford: Berghahn Books.
52. Levy, D., Sznajder, N. (2006). *The Holocaust and Memory in the Global Age*. Philadelphia: Temple University Press.
53. Lorenz, C. (2008). "Drawing the Line: 'Scientific History' Between Myth-Making and Myth-Breaking". In Stefan Berger, Linas Eriksonas and Andrew Mycock (eds.), *Narrating the Nation: Representations in History, Media and the Arts*, 35–55. Oxford: Berghahn Books.
54. Madigan, E. (2018). "Between the Poppy and the Lillya. A Century of Conflicted Irish Commemoration," paper presented at the conference 'To End all Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War', Ypres, 22–25, August 2018.
55. Majumdar, R. (2011). *Writing Postcolonial History*. London: Bloomsbury.
56. May, V. M. (2015). *Pursuing Intersectionality, Unsettling Dominant Imaginaries*. London: Routledge.
57. McCormack, J. (2007). *Collective Memory: France and the Algerian War (1954 — 1962)*. Lanham: Lexington Books.
58. McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A. (eds.) (2018). *The Indonesian Genocide of 1964: Causes, Dynamics and Legacies*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
59. Mombauer, A. (2002). *The Origins of the First World War: Controversies and Consensus*. Harlow: Pearson.
60. Morgan, K. (2010). "Neither Help Nor Pardon? Communist Pasts in Western Europe". In Małgorzata Pakier and Bo Stråth (eds.), *A European Memory? Contested Histories and the Politics of Remembrance*, 260–74. Oxford: Berghahn Books.
61. Moses, J. A. (1975). *The Politics of Illusion. The Fischer Controversy in German Historiography*. Sydney: Prior.

62. Mühlhahn, K., ed. (2017). *The Cultural Legacy of German Colonial Rule*. Berlin: de Gruyter.
63. Neier, A. (2012). *The International Human Rights Movement. A History*. Princeton: Princeton University Press.
64. Noiriël, G. (1996). "French and Foreigners". In Pierre Nora (ed.), *Realms of Memory, vol. 1: Conflicts and Divisions*, 145–78. New York: Columbia University Press.
65. Nora, P. (1984–1992). *Les Lieux de Mémoire*: 7 vols. Paris: Éditions Gallimard.
66. Pasamar, G. (2010). *Apologia and Criticism: Historians and the History of Spain*. Berne: Peter Lang.
67. Peters-Little, F., Curthoys, A., Docker, J. (eds.) (2010). *Passionate Histories. Myth, Memory and Indigenous Australia*. Canberra: ANU Press.
68. Pons, S. (2014). *The Global Revolution. The History of International Communism 1917–1991*. Oxford: Oxford University Press.
69. Qu, X., Zhao, X. (2019). "The Heritage of the Chinese Eastern Railway: Symbol of Colonization and International Cooperation". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts: Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 270–87. Oxford: Berghahn Books.
70. Romano, R. C., Raiford, L., eds. (2006). *The Civil Rights Movement in American Memory*. Athens: University of Georgia Press.
71. Schmidt, J. (2013). "Im Westen... Neues?" Deutsche Revolution und Arbeiterbewegung als Faktor in Ostasien am Beispiel Japans (1918–1920)". In Karl-Christian Führer, Jürgen Mittag, Axel Schildt and Klaus Tenfelde (eds.), *Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1920*, 375–400. Essen: Klartext.
72. Seaton, P. A. (2007). *Japan's Contested War Memories: the 'Memory Rifts' in Historical Consciousness of World War II*. London: Routledge.
73. Sells, M. A. (1996). *The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia*. Berkeley: University of California Press.
74. Sierp, A. (2014). *History, Memory and Trans-European Identity: Unifying Divisions*. London: Routledge.
75. Smith, L., Shackel, P. A., Campbell, G., eds. (2011). *Heritage, Labor and the Working Classes*. London: Routledge.
76. Antohi, S., Trencsényi B., Apor P. (2007). *Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe*. Budapest: Central European University Press.
77. Soro, J. M. (2016). "In Search of a Lost Narrative: Antifascism and Democracy in Present-Day Spain". In Hugo García, Mercedes Yusta, Xavier Tabet and Cristina Climaco (eds.), *Rethinking Antifascism: History, Memory and Political Uses, 1922 to the Present*, 276–99. Oxford: Berghahn Books.
78. Starkey, D. (2001). "The English Historians' Role and the Place of History in English National Life". *The Historian*, 71: 6–15.
79. Stelzel, P. (2019). *History after Hitler: a Transatlantic Experience*. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press.
80. Stern, F. (2006). *Five Germanies I Have Known*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
81. Sugrue, T. (1996). *The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit*. Princeton: Princeton University Press.
82. Sumartojo, S., Wellings, B., eds. (2014). *Nation, Memory and Great War Commemoration: Mobilizing the Past in Europe, Australia and New Zealand*. Berne: Peter Lang.
83. Tamboukou, M. (2016). *Gendering the Memory of Work: Women Workers' Narratives*. London: Routledge.
84. Thioub, I. (2007). "Writing National and Transnational History in Africa: the Example of the Dakar School". In Stefan Berger (ed.), *Writing the Nation: a Global Perspective*, 197–212. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
85. Uhl, H. (1997). "The Politics of Memory: Austria's Perception of the Second World War and the National Socialist Period". In Günther Bischof and Anton Pelinka (eds.), *Austrian Historical Memory and National Identity*, 64–94. London: Taylor & Francis.
86. Valuch, T. (2019). "A Special Kind of Cultural Heritage: the Remembrance of Workers' Lives in Contemporary Hungary — a Case Study of Ózd". In Stefan Berger (ed.), *Constructing Industrial Pasts: Industrial Heritage-Making in Britain, the West and Post-Socialist Countries*, 242–50. Oxford: Berghahn Books.
87. Wagstaff, M. (2012). "Critiquing the Stranger, Inventing Europe: Integration and the Fascist Legacy". In Eric Langenbacher, Bill Niven and Ruth Witlinger (eds.), *Dynamics of Memory and Identity in Contemporary Europe*, 102–19. Oxford: Berghahn Books.
88. Wellings, B., Gifford, C. (2018). The Past in English Euroscepticism. In Stefan Berger and Caner Tekin (eds.), 88–105, *History and Belonging. Representations of the Past in Contemporary European Politics*. Oxford: Berghahn Books.
89. Wicke, C., Berger, S., Golombek, J., eds. (2018). *Industrial Heritage and Regional Identity*. London: Routledge.
90. Wilson, K., ed. (1996). *Forging the Collective Memory: Government and International Historians through Two World Wars*. Oxford: Berghahn Books.
91. Winslow, B., Kaplan, T., Palmer, B. S. (1995). "Women's Revolutions: the Work of Sheila Rowbotham — a Twenty-Year Assessment", *Radical History Review*, 63: 141–65.
92. Wood, N. (1999). *Vectors of Memory: Legacies of Trauma in Post-War Europe*. London: Bloomsbury.
93. Yang, D., Mochizuki, M., eds. (2018). *Memory, Identity and Commemorations of World War II: Anniversary Politics in Asia Pacific*. Lanham: Lexington Books.
94. Yoshida, T. (2006). *The Making of the 'Rape of Nanking': History and Memory in Japan, China and the United States*. Oxford: Oxford University Press.
95. Ziino, B., ed. (2015). *Remembering the First World War*. London: Routledge.

Сведения об авторе

Бергер Штефан, PhD, директор Института социальных движений, Рурский университет в Бохуме, Бохум, Германия

Information about the author

Stefan Berger, PhD, Director of Institute for Social Movements, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany

УДК 398.22:159.953 + 398.22:94 + 32.019.51

Андрей Геннадиевич Иванов

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк, Россия*

E-mail: agivanov2@yandex.ru

Мифологизированное прошлое как часть исторической памяти

В статье рассматривается феномен мифологизированного прошлого в контексте его присутствия в исторической памяти. Анализируются различные точки зрения на соотношение мифа и исторической памяти. Мифологизированное прошлое понимается в качестве одного из результатов процесса мифологизации и определяется как образы прошедшего времени и событий прошлого, основывающиеся на мифах и формирующие мифологемы. Делаются выводы, что ответ на вопрос, кому сегодня выгодна мифологизация прошлого, невозможен без рассмотрения интересов политического класса; что свойственная древнему мифу особая темпоральность в современном мифе утрачивается, неравномерно рассеиваясь между модусами времени.

Ключевые слова: миф, мифологизация, мифологизированное прошлое, историческая память, «мифо-история», темпоральность, модусы времени

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00297 «Мифологизация времени в современной медийной среде: риски трансформации, стратегии конструирования, дискурсивные практики».

Для цитирования: Иванов А. Г. Мифологизированное прошлое как часть исторической памяти // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 25–30.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Andrei G. Ivanov

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Lipetsk, Russia*

Mythologized Past as Part of Historical Memory

The article examines the phenomenon of the mythologized past in the context of its presence in historical memory. Various points of view are considered on the relationship of myth and historical memory. The mythologized past is understood as one of the results of the process of mythologization and is defined as images of the past tense and events of the past, based on myths and forming mythologies. It is concluded that the answer to the question of who today benefits from the mythologization of the past is impossible without considering the interests of the political class; that the special temporality characteristic of the ancient myth is lost in the modern myth, unevenly scattering between the moduses of time.

Key words: myth, mythologization, mythologized past, historical memory, “mifoistoriya”, temporalnost, time modes

For citation: Ivanov, A. G. (2020). Mifologizirovannoe proshloe kak chast' istoricheskoi pamyati [Mythologized Past as Part of Historical Memory]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 25–30.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

They flutter behind you
Your possible pasts

Роджер Уотерс
(«Pink Floyd», 1983)

Среди феноменов, задающих пространство понимания прошлого, особое место занимает историческая память, исследования которой в последнее время активизировались благодаря усилиям и зарубежных, и отечественных специалистов (А. Ассман, П. Хаттон, А. И. Миллер, В. Б. Устьянцев и др.).

Сразу хотелось бы подчеркнуть особую природу феномена исторической памяти, что, в принципе, позволяет говорить о ее связи с мифами, мифической образностью, — это акцент на исторических образах прошлого: «Изучение исторической памяти не отказывает истории в самой возможности исследования, а просто меняет исследовательскую оптику, переориентируя ее с самого прошлого на те образы прошлого, которые складываются в последующие времена» [1].

Сам вопрос о сущности исторической памяти и тем более о ее взаимоотношении с мифом представляется дискуссионным, по крайней мере в настоящее время. Так, можно выделить ряд практически противоположных мнений о соотношении мифа и исторической памяти:

1. Миф — часть культурной памяти, историческая же память должна быть чистой (свободной) от мифов. Здесь, с одной стороны, отстаивается требование к истории как к строгой науке, но, с другой стороны, признается универсальность культурной памяти, включающей также и мифологическую память — как коллективную, так и личностную, основанную на воспоминаниях.

Данную позицию разделяет О. В. Герасимов, который, рассматривая различные виды воспоминания о прошлом (например,

индивидуальные, семейные, коллективные), историческую память определяет как институционализированную форму [6, 54]. И специально фиксирует следующее: «Историческая память — это память, упорядоченная во времени и пространстве» [7, 135]. Исследователь выделяет три ипостаси исторической памяти: память 1) как способ фиксации и закрепления исторического опыта с помощью накопления знания о прошлом; 2) как своего рода герменевтика прошлого, позволяющая выстраивать связь этого прошлого с настоящим; 3) как основание будущего, необходимая предпосылка формирования так называемой «национальной идеи» [Там же, 136].

2. Миф — часть исторической памяти. Такое утверждение встречается довольно часто, и мы разделяем его, но с учетом двух важных аспектов.

Первый аспект связан с пониманием мифологии, и в частности мифа, как судьбы. Так, Ф. В. Й. Шеллинг считал, что «...народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба (как характер человека — это его судьба); мифология — это с самого начала выпавший ему жребий. <...> Немыслимо, чтобы мифология народа возникала из чего-либо уже наличествующего и среди наличествующего, а потому ей не остается ничего иного, кроме как возникать вместе с народом — в качестве сознания народа-индивида...» [8, 213]. Если мы согласимся с таким пониманием мифологии, то это означает, что у каждого народа всегда существует собственная мифология, пронизывающая его историческую память, постоянно воспроизводящаяся в новых контекстах, влияющая на дальнейшее существование «народа-индивида» и «народа-нации». В этом смысле совершенно справедливо считать миф неотъемлемой частью

не только исторической памяти, но и истории народа.

Другой аспект связан со спецификой современных политических и исторических мифов как продуктов мифотворчества. Если архаичский миф не мог возникнуть «на пустом месте» (вспомним эвгемерическую трактовку мифа), а был связан в конечном счете с реально имевшими место историческими событиями, пусть дополненными и сакрализованными впоследствии, то миф современной информационной и цифровой эпохи вполне может быть продуктом мифотворчества, базирующегося исключительно на образах, зачастую не отсылающих к реальности или отсылающих к симуляционной реальности (гиперреальности), как это было, например, продемонстрировано в работе Ж. Бодрийяра «Войны в Заливе не было» [5]. Именно факты активизации мифотворческой деятельности приводят, в частности, к выводу, что «...историческая мифология довольно уверенно теснит историографический дискурс» [7, 135], или к утверждению, что миф «...представляет собой форму репрезентации ценностей данной культуры. Ни к фактам, ни вообще к знаниям о действительности миф не имеет отношения» [2, 43].

3. Миф — это другое название исторической памяти. Такая категоричная позиция может считаться уместной, но применительно к возможным пароксизмам институционального осуществления политики памяти.

Так, известный отечественный исследователь В. А. Шнирельман пишет: «Как следует относиться к этноцентристским мифам, имеющим большое ценностное значение для апеллирующих к ним групп? Ведь сегодня сам термин “миф” вызывает неприятие. Поэтому специалисты обращаются к таким терминам, как “Большой нарратив”, “метанарратив”, “метарассказ”, и говорят не о “мифе”, а о социальной памяти, исторической памяти, публичной истории, исторической политике. Но это ведет к несколько иному взгляду на проблему, к ее расширению и углублению, к смене акцентов» [8].

Объяснить такое совпадение — мифа и памяти — можно тем, что национальная память зачастую выстраивается государством вокруг мифов основания, в качестве которых выступают те или иные исторические события.

Дело в том, что мифы неизбежно присутствуют в культурной памяти современных обществ. А любой миф в той или иной степени содержит в себе некую историю, проверенную временем, историю того, как мир стал таким, какой он есть сейчас; и в этом смысле мифы этиологичны. Сегодня же при проговаривании истории становления или происхождения приходится иметь дело как с древними (архаическими, классическими) мифами, так и со сконструированными, с такими мифами, главный принцип которых, говоря словами Р. Барта, «превращение истории в природу» [3, 255].

К. Леви-Стросс, отвечая на вопросы, имеет ли миф какое-либо значение в наше хронометрическое время и можно ли говорить о существовании мифа в сегодняшнем мире, обращал внимание на связь истории и мифа: «...Единственный домен знания, который сегодня еще существует и который имеет то же устройство, что и миф, это история. Во всяком случае, история обладает примерно той же ценностью, какую миф имел в архаическом обществе. <...> ...Представления, образы, которые мы создаем об истории, в широком смысле мифические, в том смысле, что они целиком и полностью зависят от той позиции, которую мы занимаем в нашем настоящем» [4, 68–69]. История происхождения каждого общества, государства, народа и сегодня сопряжена с этиологическими мифами. Взять хотя бы споры о происхождении русского народа, самого названия «русские». Наличие этиологических мифов в культурной памяти современных обществ представляется бесспорным. Современные этиологические мифы, базируясь на рациональных составляющих, сохраняют свой мобилизационный потенциал, оказывая влияние, например, на формирование патриотических чувств, воздействуя на человека на эмоциональном уровне.

Далее обратимся к термину «мифологизированное прошлое» и попытаемся ответить на вопрос, как прошлое становится мифологизированным или как история превращается в миф?

Прежде всего, следует определиться с тем, что такое мифологизация, так как мифологизированное прошлое есть один из результатов процесса мифологизации.

Мы считаем, что мифологизация — это процесс наделения мифологической образностью

и символической аспектов действительности (социальной, художественной) любого модуса времени, осуществляемый как отдельным индивидом, так и социальными группами, обществом в целом, состоящий из нескольких стадий и способный оказывать влияние на развитие человека и общества. Мифологизация укрупненно включает следующие стадии: возникновение простого нарратива; выделение панегирического и героического нарративов; появление цепи событий, сюжетной линии, предстающей в качестве оформленного мифа. В мифе же мы имеем дело с замкнутым временем. И если мы говорим о прошлом, то в истории всегда существуют эпизоды, которые могут стать мифологизированными и превратиться в это замкнутое время. То есть мифологизированное прошлое представляет собой определенный отрезок времени, зачастую достаточно абстрактно определяемый: давным-давно, период перемен и т. п. Такой отрезок запечатлевается в памяти народа, индивида как уникальный и исключительно ценностно окрашенный (например, героический, драматический, переломный, травматический). Образы такого времени закрепляются в мифах и формируют мифологемы. То есть мифологизированное прошлое — это образы прошедшего времени и событий прошлого, основывающиеся на мифах и формирующие мифологемы.

Специфику мифологизации прошлого отражает, в частности, концепт «мифоландшафт», предложенный Д. Беллом. Автор, на наш взгляд, демонстрирует влияние прошлого на формирование мифов нации с сопутствующей мифологизацией содержащихся в коллективной памяти событий. «Сложное взаимопроникновение мифа и органической памяти (воспоминаний) наилучшим образом могут быть сформулированы в контексте (и в отношении) «национального мифоландшафта». Такой мифоландшафт может быть понят как дискурсивная сфера, образованная с помощью и посредством временных и пространственных измерений, в которых мифы нации постоянно формируются, передаются, реконструируются и обсуждаются. Темпоральное измерение обозначает исторический промежуток, повествование о прошедших годах, и это повествование скорее всего будет включать в себя, в частности,

историю происхождения нации и последующих важных событий и героических фигур. В случае с США, например, это повествование будет охватывать «Мейфлауэр», героическую Революцию, мудрых отцов-основателей, формирующую нацию Гражданскую войну, отважных пограничников и экспансию на Запад, экономическое и политическое доминирование в XX в., Перл-Харбор и последовательное спасение «свободного мира», разочарование во Вьетнамской войне, ужасы зверств атаки на Всемирный торговый центр и так далее» [11, 75–76].

Используя примеры национальных мифологий, попытаемся ответить на вопросы: кому выгодно мифологизированное прошлое, кем и для чего оно используется?

Прежде всего, считаем нужным согласиться с мнением, что «...мифу интересны не все события прошлого, а только те, которые имеют огромное ценностное значение для данного общества, — они служат символической основой групповой идентичности и позволяют членам группы четко отличать себя от других...» [8]. Консолидации общества и конструированию национальной идентичности способствуют разные мифы и мифологемы, проецируемые на временную шкалу. Одной из наиболее успешно работающих мифологем оказывается мифологема героя. В своем исследовании «Представления о прошлом. Создание национальных историй в Европе в XIX и XX вв.» («Representations of the Past. The Writing of National Histories in Nineteenth and Twentieth Century Europe») Ш. Бергер подчеркивает, что герои обнаруживаются в каждой национальной мифологии, и рассматривает, кто или что выступает в роли таких героев. При этом он выделяет не только фигуру героя, но и разворачивающуюся вокруг него «мифоисторию» (mythistory). Интересно, что в качестве такой фигуры могли выступать как создатель нации (nation-builder) или революционер, одержавший победу над иноземными захватчиками, так и крестьянство (как, например, в случае с Уэльсом, где отсутствовал опыт независимого существования нации) [12]. В ситуациях, когда соответствующая мифологема выступает в качестве социального интегратора, легко, конечно, мифологизируется и время, приходящееся на активность

такого феномена, будь то, например, периоды героических свершений или даже целая эпоха существования империи.

Следует отметить, что мифологизированным прошлым живет прежде всего сам народ; у каждого народа имеется своя собственная «мифоистория», что соответствует отмеченному нами выше пониманию мифологии как судьбы. Однако то, каким именно содержанием будет наполнена такая «мифоистория» в конкретных исторических и политических обстоятельствах, сегодня зависит также и от воли политических лидеров, которые вполне могут использовать миф в качестве влиятельного инструмента для конструирования образов желаемого прошлого, «возможного» прошлого. При этом политический класс (условно назовем их мифотворцами), реанимируя — через актуализацию определенных исторических событий — образы прошлого и соответственно мифы, стремится к тому, чтобы они коррелировали с актуальной повесткой: «Миф говорит символическим, метафорическим языком, где прошлое, включая далекое прошлое, — это лишь способ озвучить современные тревоги и заботы. Взывая к прошлому, миф подчеркивает текущие невзгоды и рисует желательную картину будущего» [8].

Здесь возникает еще несколько вопросов, касающихся природы времени в современном мифе: как в мифе связаны модусы времени, имеет ли в мифе место отождествление прошлого, настоящего и будущего? Вспомним, что

в архаическом мифе выделяются профанное и сакральное время и что в сакральном времени «...не существует определенного “сейчас” как настоящего, и оно не течет из прошлого в будущее в том смысле, что прошедшие события уже не существуют, а будущие события еще не существуют. Священное время не изображает также и непрерывную связь, а состоит из отдельных, частично независимых друг от друга временных гешталтов, архе» [10, 142–143]. В настоящее время миф строится с использованием отсылок к сакральным временам, стремясь к единству модусов времени, свойственному архаическому мифу. Однако характерная для древнего мифа особая мифологическая темпоральность в современном мифе утрачивается, зачастую оказывается уязвимой в контексте быстрых изменений, усиливающих разрыв с прошлым и делающих будущее менее определенным. Сегодня метафора судьбы больше не работает при объяснении фактов истории, а конструирование исторической памяти не обходится без трепетного отношения к тем или иным историческим периодам и фактам, которые мифологизируются, превращаясь в желаемое прошлое.

Таким образом, мифологизированное прошлое, являясь частью исторической памяти, на сегодняшний день скорее соответствует второму аспекту понимания мифологии: совокупность исторических и политических мифов как результатов мифотворческой деятельности политического класса.

Список литературы

1. Аникин Д. А. Исторический миф как предмет «memory studies»: в поисках методологии исследования // Электрон. науч.-образоват. журн. «История». 2018. Т. 9, вып. 6 (70). URL: <https://history.jes.su/s207987840002242-5-1/> (дата обращения: 15.05.2020). DOI:10.18254/S0002242-5-1.
2. Антипов Г. А., Донских О. А. Миф и мифологическое в современном обществе // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. Социология. Политология. 2020. № 54. С. 39–50. DOI: 10.17223/1998863X/54/42.
3. Барт Р. Мифологии : пер. с фр. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2004.
4. Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой : пер. с фр. // Вопр. философии. 2009. № 5. С. 66–79.
5. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было : пер. с фр. М. : РИПОЛ классик, 2017.
6. Герасимов О. В. Феномен исторической памяти // Вестн. Ун-та Рос. акад. образования. 2013. № 5. С. 133–137.
7. Герасимов О. В. Память о прошлом в контексте культуры (темпоральный аспект) // Социальная онтология культуры : коллектив. моногр. / под общ. ред. Е. В. Листвиной, О. В. Шиндиной. Саратов : Саратов. источник, 2018. С. 53–62.
8. Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии // Соч. : в 2 т. : пер. с нем. М. : Мысль, 1989. Т. 2. С. 159–374.
9. Шнирельман Д. А. Миф о далеких предках и этническая принадлежность // Электрон. науч.-образоват. журн. «История». 2018. Т. 9, вып. 6 (70). URL: <https://history.jes.su/s207987840002252-6-1/> (дата обращения: 15.05.2020). DOI:10.18254/S0002252-6-1.

10. Хюбнер К. Истина мифа : пер. с нем. М. : Республика, 1996.
11. Bell D. S. A. Mythscapes: Memory, Mythology and National Identity // *British Journal of Sociology*. 2003. March. № 54. Iss. 1. P. 63–81.
12. Berger S. On the Role of Myths and History in the Construction of National Identity in Modern Europe // *European History Quarterly*. 2009. July. Vol. 39, № 3. P. 490–502.

References

1. Anikin, D. A. (2018). Istoricheskii mif kak predmet “memory studies”: v poiskakh metodologii issledovaniya [Historical Myth as a Subject “Memorize”: in Search of Research Methodology]. *Ehlektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal “Istoriya”*, 9, 6 (70).
2. Antipov, G. A., Donskikh, O. A. (2020). Mif i mifologicheskoe v sovremennom obshchestve [Myth and Mythological in Modern Society]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta: Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*, 54, 39–50. Tomsk: Natsional’nyi issledovatel’skii Tomskii gosudarstvennyi universitet.
3. Bart, R. (2004). *Mifologii* [Mythology]. Moscow: Izdatel’stvo imeni Sabashnikovykh.
4. Beseda s Klodom Levi-Strosom Konstantina fon Barlevena i Galy Naumovoi (2009) [Conversation with Claude Levi-Strauss of Konstantin von Barleven and Gali Naumova]. *Voprosy filosofii*, 5, 66–79. Moscow: Institut filosofii Rossiiskoi akademii nauk.
5. Bodriiyar, Z. H. (2017). *Dukh terrorizma. Voiny v zalive ne bylo* [The Spirit of Terrorism. There was no War in the Gulf]. Moscow: RIPOL klassik.
6. Gerasimov, O. V. (2018). Pamyat’ o proshlom v kontekste kul’tury (temporal’nyi aspekt) [Memory of the Past in the Context of Culture (Temporal Aspect)]. In Listvina E. V. (ed.), *Sotsial’naya ontologiya kul’tury*, 53–62. Saratov: Saratovskii istochnik.
7. Gerasimov, O. V. (2013). Fenomen istoricheskoi pamyati [The Phenomenon of historical memory]. *Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya*, 5, 133–137. Moscow: Universitet Rossiiskogo innovatsionnogo obrazovaniya.
8. Shelling, F. V. I. (1989). *Vvedenie v filosofiyu mifologii* [Introduction to the philosophy of mythology]. Moscow: Mysl’.
9. Shnirel’man, D. A. (2018). Mif o dalekikh predkakh i ehtnicheskaya prinadlezhnost’ [The Myth of Distant Ancestors and Ethnicity]. *Ehlektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal “Istoriya”*, 6. Moscow: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu “Integratsiya: Obrazovanie i Nauka”.
10. Khyubner, K. (1996). *Istina mifa* [The Truth of the Myth]. Moscow: Respublika.
11. Bell, D. S. A. (2003, March). Mythscapes: Memory, Mythology and National Identity. *British Journal of Sociology*, 54, 1, 63–81.
12. Berger, S. (2009, July). On the Role of Myths and History in the Construction of National Identity in Modern Europe. *European History Quarterly*, 39, 3, 490–502.

Сведения об авторе

Иванов Андрей Геннадиевич, доктор философских наук, профессор кафедры государственной, муниципальной службы и менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк, Российская Федерация

Information about the author

Andrey G. Ivanov, Doct. Philos. (Eng.), Professor, Russian Presidential Academy of Nation Economy and Public Administration, Lipetsk Branch, Lipetsk, Russian Federation

УДК 94 : 159.953 + 316.346.36 + 129

Евгения Васильевна Романовская

Саратовский государственный университет, г. Саратов, Россия

E-mail: evromanovskaya@mail.ru

Проблемы памяти в книге Ле Гоффа «История и память»

Книга Ж. Ле Гоффа «История и память», выпущенная в русском переводе в 2013 г., состоит из четырех текстов, посвященных размышлению ученого о памяти и истории. Автор — знаменитый французский историк, принадлежавший к школе «новой исторической науки», которая группировалась возле не менее знаменитого журнала «Анналы». На первый взгляд, обращение к работе представителя этой школы не совсем уместно в контексте проблем памяти и забвения. Но ряд положений и идей в книге Жака Ле Гоффа имеет непосредственное отношение к мемориальной тематике. Это проблемы манипуляций памятью и историей, анализ идеи прогресса, оригинальная типология памяти, память и «антипамять», формирование механизмов коллективной и социальной памяти.

Ключевые слова: память, история, социальная память, историческая память

Для цитирования: Романовская Е. В. Проблемы памяти в книге Ле Гоффа «История и память» // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 31–35.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Evgeniya V. Romanovskaya

Saratov State University, Saratov, Russia

Memory Problems in the Book of Le Goff «History and Memory»

The book written by J. Lee Goff «History and Memory» and published in Russian translation in 2013, consists of four texts devoted to the scientist's reflections on memory and history. The author is a famous French historian who belongs to «new historical science» school, which grouped around the equally famous journal «Annals». At first, an appeal to the work of a representative of this school is seemed not entirely appropriate in the context of problems of memory and oblivion. But a number of provisions and ideas, in the book of Jacques Le Goff, are directly related to the memorial theme. These are the problems of manipulating memory and history, analysis of the idea of progress, original typology of memory, memory and «anti-memory», the formation of mechanisms of collective and social memory.

Key words: memory, history, social memory, historical memory

For citation: Romanovskaya, E. V. (2020). Problemy pamyati v knige Le Goffa «Istoriya i pamyat'» [Memory Problems in the Book of Le Goff «History and Memory»]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 31–35.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Жак Ле Гофф — один из наиболее известных французских историков, представитель школы «Анналов», автор трудов по истории повседневности и истории восприятия мира средневековым человеком.

Его книга «История и память», выпущенная в русском переводе в 2013 г. (написана в 1988 г.), состоит из четырех текстов (1. Прошлое/настоящее. 2. Древний/современный. 3. Память. 4. История). И в ней Ж. Ле Гофф исследует проблему взаимоотношения памяти и истории. Ж. Ле Гофф — знаменитый французский историк-медиевист. Яркий представитель «Новой истории», которая вышла из школы «Анналов», основателями которой были Марк Блок и Л. Лефевр. На наш взгляд, идеи Ж. Ле Гоффа о проблеме памяти и забвения незаслуженно слабо представлены в гуманитарной литературе. Однако это не мешает тому, что ряд положений и идей, которые выдвигают представители данного направления, в частности Жак Ле Гофф, имеют непосредственное отношение к мемориальной тематике.

Французская философская литература о памяти нам хорошо знакома: М. Хальбвакс — идея коллективной памяти; П. Нора — теория мест памяти; П. Рикёр с его герменевтическим подходом в его капитальном труде «Память, история, забвение»; Ф. Ариес «Человек перед лицом смерти»; А. Бергсон «Материя и память» и др. Все они вошли в нашу философскую культуру. Но, на наш взгляд, необходимо приглядеться и к творчеству Ле Гоффа, этого знаменитого историка, хотя он гораздо меньше представлен в литературе «memory studies».

В книге «История и память» Ле Гоффа интересуют память, главным образом по отношению к истории, и соотношение между историей и памятью, но здесь также много рассуждений о социальной памяти, об эволюции от устной памяти к письму, от предыстории к древности, о памяти в эпоху Средневековья, о развитии письменной и образной памяти от Ренессанса до наших дней, имеется много других ценных наблюдений.

В одной статье невозможно вместить все то, что требует анализ этого плотного, насыщенного текста. Мы остановимся главным образом на его статье «Память», в которой в основном сконцентрированы его размышления о роли памяти в истории и истории самой памяти.

Здесь Ле Гофф дает свое определение и памяти, и истории. История, по его мнению, это упорядочение прошлого, детерминированное теми идеологическими структурами, в которых пребывают историки, и она же всегда подвергается манипуляциям со стороны правящих властей. Память, по его представлению, живой источник истории, и она также подвергается опасности манипулирования, возможно, в большей степени, чем сама история.

В историческом аспекте, анализируя эволюцию памяти и ее роль в истории общества, Ле Гофф использует прежде всего яркий образ перекрестка, который встречается у таких поэтов, как У. Водсворт, и у таких историков, как П. Хаттон. Так, П. Хаттон пишет об этом следующее: «В автобиографической поэме “Прелюдия” английский поэт Уильям Вордсворт (1770–1850) приводит поразительные воспоминания о том, как ребенком тринадцати лет он провел бессонную ночь на высокой скале, глядя на дороги возле его школы. Здесь перед Рождеством он и его братья всматривались в линию горизонта, пытаясь разглядеть лошадей отца, уже, как они надеялись, спешившего, чтобы забрать их домой на праздники... Занимая промежуточное положение между радостным ожиданием и последующим разочарованием, образ пересекающихся дорог стал в его памяти знаком перекрестка путей в его жизни. Он называл этот образ “пятном времени”» [7, 95].

Автор не питает никаких иллюзий по поводу памяти и истории о том, что они пребывают в неизменном состоянии и удобны для изучения. Приступая к анализу, он указывает на такую важнейшую черту и памяти, и истории, которая, как он пишет, «подчинена сознательным манипуляциям». То же самое относится и к исторической памяти: «...Историческая память чаще всего имеет бессознательный характер; в действительности существует гораздо большая опасность, что со временем в мыслящих сообществах манипулированию будет скорее подвергнута она, чем сама история как отрасль знания» [3, 6]. Он прекрасно понимал еще тогда, что «...путем манипуляций с образами прошлого можно воздействовать на формирование актуальной для настоящего памяти об этом прошлом». «Показать себя властителем памяти и забвения — это одна из важнейших задач классов,

групп и индивидов, которые господствовали и господствуют в исторических обществах. Забвение, замалчивание истории обнаруживает существование механизмов манипулирования коллективной памятью» [3, 82].

Для любого, кто интересуется проблемами памяти, важна оценка прошлого и с исторической, и с мемориальной стороны. Ле Гофф характеризует прошлое и настоящее с точки зрения идеи прогресса. По его мнению, одни считают, что прошлое — это «золотой век», это непорочность, добродетели; другие считают прошлое варварством, архаикой, старьем, которое давно вышло из моды, временем интеллектуальных карликов; а настоящее же либо блаженное время прогресса, либо плачевный упадок. И всегда сторонники этих точек зрения отмечают смену аргументов, подтверждающих либо отвергающих их тезис.

Ле Гофф считает, что западный мир более трезво относится к идее прогресса, который господствовал в XVII и XVIII вв. и который отвергал и прерывал диалектическую связь между прошлым и современностью. Но даже эти века «прогрессизма» были насыщены спорами между традиционалистами и «революционерами». В то же время автор осознает, что идея прогресса потерпела поражение и находится в глубоком кризисе вследствие тех ужасных событий, которые принес XX век.

Непосредственный анализ памяти для него восходит к психологии, как и было в истории культуры, психофизиологии, нейропсихологии, биологии, а нарушение памяти (амнезия) — и к психиатрии. По его мнению, расстройства памяти, такие, которые возникают, например, при амнезии, должны осмысливаться с помощью социальных наук. А отсутствие у социума коллективной памяти может выразиться в серьезном нарушении коллективной идентичности.

Но, несмотря на такой материалистический подход, он считает, что имеются выходы, прямые или косвенные, на проблемы исторической памяти и памяти социальной. Обращаясь к концепциям памяти в философской традиции, он, во-первых, отвергает идею следа. Тут не очень понятно, как он относится к теориям «отпечатков перстня» Платона и Аристотеля. От античных времен известны две теории — физическая теория анамнезиса, ведущая

начало от Платона, и психологическая теория, идущая от Аристотеля. По Платону, знание не выводится из чувственных впечатлений. В диалоге «Теэтет» он использует метафору печати — памяти. Сократ объясняет Теэтету, что в наших душах есть восковая дощечка и что это дар матери Муз, Мнемозины. Подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить, как бы оставляя на нем отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, когда же изображение стирается, мы забываем и больше уже не знаем [5, 252].

Аристотель всякое знание выводит из чувственных впечатлений. Он, так же как и Платон, использует метафору перстня и отпечатка на воске. «Ведь ясно, что возникающее в душе благодаря ощущению и обладающей этим ощущением части тела нужно мыслить как некое изображение, свойством которого, говорим мы, и является память. Дело в том, что возникающее движение запечатлевается словно отпечаток ощущаемого предмета, точно так же как запечатлеваются отпечатки перстней» [1, 162].

Ле Гофф пишет: «В последнее время развитие кибернетики и биологии значительно обогатило, особенно метафорически, понятие памяти в его отношении к осознаваемой памяти человека. Сейчас говорят о компьютерной памяти, генетический код рассматривают как унаследованную память. Однако такое распространение понятия памяти и на машину, и на жизнь вообще парадоксальным образом непосредственно сказалось на посвященных памяти исследованиях психологов, переходящих от преимущественно эмпирической стадии к стадии в большей степени теоретической» [3, 82].

Но Ле Гофф, по-видимому, отвергает идею следа ради более сложных концепций мнемонической деятельности мозга и нервной системы.

В проблеме исследования эволюции памяти в истории общества он обращается к труду своего соотечественника — археолога, антрополога Андре Леруа Гурана и к его книге «Память и ритмы». Ле Гофф рассматривает три типа памяти: специфическую, этническую и искусственную. (Значение классификации как метода познания важно. Классификация важна. Без нее невозможно. Она используется для упорядочения знаний. Особенно

в междисциплинарных исследованиях. С ее помощью мы упрощаем мир и его смыслы.) Память, не как свойство способности мышления, а как способность сохранять информацию, как основание, на котором пишутся цепочки последовательных действий, это, конечно, характеристика памяти животных, это специфическая память. Память, которая воспроизводит поведение в человеческих обществах, это этническая память. Ну и странно было бы не выделить память искусственную, которая воспроизводит все без помощи инстинктов и размышлений.

Ле Гофф приводит также структуру эволюции памяти и различает пять периодов: 1) период устной передачи; 2) период письменной передачи с помощью дощечек и указателей; 3) период простых знаков; 4) период механографии и 5) период электронной организации в серии. И характеристика этих периодов им как историком для нас очень интересна. Вначале это, конечно, Мнемозина, богиня памяти, которая передает аэду, поэту, прорицание прошлого. И роль поэта очень велика, он выполняет роль пророка: «Поэзия, отождествленная с памятью, превращает последнюю в знание и даже мудрость, *sophia*. Поэт занимает место среди “учителей истины”, и во времена возникновения греческой поэтики поэтическое слово представляет собой живую надпись, которая записывается в памяти как на мраморе» [3, 95]. Период устной передачи — сюжеты Античности: Сократ в платоновском «Федре» — переход от устной памяти к письменной и неприятие ее письменного варианта. Сократ упрекает Тота, египетского бога — изобретателя письма, что он способствовал ослаблению памяти; это Симонид, который изобрел технику запоминания — мнемотехнику. «Он пришел к выводу, что желающим развить эту способность (памяти) нужно отобрать места и сформировать мысленные образы тех вещей, которые они хотят запомнить, и затем расположить эти образы на местах, так что порядок мест будет хранить порядок вещей, а образы вещей будут обозначать сами вещи, и мы станем использовать эти места и образы соответственно как восковые таблички для письма и написанные на них буквы» [8].

Ле Гофф связывает это явление с началом секуляризации памяти. Симонид ускорил

десакрализацию памяти и первый заставил платить за свои стихи.

Ле Гофф исследует христианизацию памяти в средневековом обществе. «Memoria» — так историки обозначают понятие «память» во всех проявлениях этого многослойного феномена. Средневековая memoria — понятие многосоставное: в религиозном смысле это поминовение мертвых живыми, в социальном — способ утверждения сообщества живых и мертвых. Главная идея memoria — идея о нерасторжимом сообществе живых и мертвых. Memoria — память, которая формирует общность.

Ле Гофф обращает внимание на то, что память в Средние века — это библейские мотивы. В Ветхом Завете (Второзаконие) — призыв к обязательности воспоминания, это память, лежащая в основании иудейской идентичности: «Берегись забыть Яхве». И в книге пророка Исая:

Помни это, Иаков,
И ты, Израиль, ибо ты раб Мой.
Я образовал тебя, раб Мой ты,
Израиль, я не забуду тебя.

И из Нового Завета Ле Гофф приводит сюжет о Тайной вечере, которая истолковывается как основание искупления на воспоминаниях об Иисусе, когда он, преломив хлеб, говорит своим ученикам, что это тело его, которое за них предается и что они должны помнить об этом. Ле Гофф вспоминает также идею Ф. Йетс о том, что готические соборы, возможно, символические места памяти.

Memoria находится в центре христианской антропологии Августина, считавшего человеческий разум состоящим из *intelligentia* (понимания), *amor* (любви) и *memoria*. «Вместе с Августином память погружается во внутреннего человека, в лоно той христианской диалектики внутреннего и внешнего, откуда возьмут свое начало исследования сознания, самоанализ, если не психоанализ» [3, 102].

Христианизация памяти — это разделение памяти на движущуюся по замкнутому кругу литургическую память и память светскую; это память об умерших святых. Иудаизм и христианство — религии, исторически и теологически укорененные в истории; Ле Гофф считает, что их можно было бы описать как религии воспоминания.

И Новые времена — это как бы движение против памяти. В XVI в. в Варфоломеевскую ночь убивают французского протестанта Пьера де ла Раме, который требовал заменить прежние приемы запоминания новыми. Бунт разума против памяти, который, как пишет автор, вплоть до наших дней все еще продолжает вдохновлять некое течение «анти-памяти» (можно вспомнить о контрпамяти у Фуко). «...Необходимо использовать историю таким образом, чтобы навсегда освободить ее от модели памяти, модели одновременно метафизической и антропологической. Необходимо сделать из истории контрпамять — и, следовательно, развернуть в ней иную форму времени» [6, 554].

Это проявляется во французском образовании: из школьных программ исключаются материалы, заучиваемые «на память», тогда

как детские психологи, такие как Жан Пиаже, доказали, что память и разум, будучи далекими от конфронтации, поддерживают друг друга.

Ле Гофф так заканчивает главу «Заключение: надежды и расчеты на память: «Начиная с *homo sapiens* формирование механизма социальной памяти оказывается главной проблемой человеческой эволюции» [3, 133].

Однако коллективная память — это не только завоевание, но еще инструмент и цель для достижения могущества. «Именно в тех обществах, социальная память которых остается главным образом устной или которые пребывают в процессе формирования письменной коллективной памяти, как раз и можно наилучшим образом наблюдать борьбу за господство над воспоминанием и традицией, манипуляцию памятью» [Там же].

Список литературы

1. Аристотель. О памяти и припоминании // *Вопр. философии*. 2004. № 7.
2. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб. : Издат. дом «Университет. книга», 1997.
3. Ле Гофф Ж. История и память. М. : РОССПЭН, 2013.
4. Мегилл А. История и память: за и против [Электронный ресурс]. URL: cyberleninka.ru › article › istoriya-i-pamyat-za-i-protiv (дата обращения: 09.10.2020).
5. Платон. Теэтет // Платон. Собр. соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1993. Т. 2.
6. Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ницше и современная западная мысль. СПб. ; М. : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге : Летний сад, 2003.
7. Хаттон П. Х. История как искусство памяти. СПб. : «Владимир Даль», 2003.
8. Цицерон. Об ораторе // Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М. : Мысль, 1972.

References

1. Aristotel (2004). O pamyati i pripominanii [On memory and recollection]. *Voprosy filosofii*, 7.
2. Yates, F. (1997). *Iskusstvo pamyati* [The Art of Memory]. St. Petersburg: Izdatel'skii dom «Universitetskaya kniga».
3. Le Goff, J. (2013). *Istoriya i pamyat'* [History and memory]. M.: ROSSPEN, 2013.
4. Megill, A. *Istoriya i pamyat': za i protiv* [History and memory: pro and contra]. URL: ...cyberleninka.ru › article › istoriya-i-pamyat-za-i-protiv (mode of access: 09.10.2020)
5. Plato (1993). *Teetet* [Theetetus]. In Plato, *Sobranie sochinenii*, 4, 2. Moscow: Mysl'.
6. Foucault, M. (2003). Nietzsche, genealogiya, istoriya [Nietzsche, genealogy, history]. In *Nitsshe i sovremennaya zapadnaya mysl'*. St. Petersburg; Moscow: Evropeiskii un-t v Sankt-Peterburge: Letnii sad.
7. Hatton, P. (2003). *Istoriya kak iskusstvo pamyati* [History as the art of memory]. St. Petersburg: «Vladimir Dal'».
8. Cicero (1972). *Ob oratore* [About the speaker]. In M. T. Cicero, *Tri traktata ob oratorskom iskusstve*. Moscow: Mysl'.

Сведения об авторе

Романовская Евгения Васильевна, доктор философских наук, профессор кафедры теоретической и социальной философии философского факультета Саратовского государственного университета, г. Саратов, Российская Федерация

Information about the author

Evgenia V. Romanovskaya, Doct. Philos. (Eng.), Professor Department of Theoretical and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, Saratov State University, Saratov, Russian Federation

УДК 316.346.36:159.953 + 94:159.953 + 304.2

Светлана Геннадиевна Доронина

*Институт философии Национальной академии наук,
Центр историко-философских и компаративных исследований, г. Минск, Беларусь*
E-mail: svetadoris@mail.ru

Социальная структура прошлого: индивидуальная и коллективная память

В статье исследуется социальное измерение исторической памяти, а также эксплицируется социально-психологический контекст коллективных и индивидуальных воспоминаний, степень влияния которого на локальные сообщества зависит от формы запоминания, селекции воспоминаний и техник социальной меморизации. Следуя за идеями американского когнитивного социолога Е. Зарубееля, автор определяет специфику коллективной и индивидуальной памяти, а также ее связь с устойчивыми формальными структурами исторического повествования, благодаря которым воспоминания становятся транзитивными. В исследовании автор использует феноменологический подход, основанный на социологии памяти и историографических методах.

Ключевые слова: индивидуальная память, коллективная память, историческая память, социальная меморизация, исторический нарратив, формальные структуры, социальные фильтры

Для цитирования: Доронина С. Г. Социальная структура прошлого: индивидуальная и коллективная память // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 36–43.

*Поступила в редакцию: 31.08.2020
Принята к печати: 30.10.2020*

Svetlana G. Doronina

Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Social Structure of the Past: Individual and Collective Memory

The author in the article explores the social dimension of historical memory, and also explicates the social and psychological context of collective and individual memories. The author found that the degree of influence of social and psychological contexts directly depends on the form of memorization, selection of memories and techniques of social memorization. Taking the ideas of the cognitive sociologist E. Zarubevel as a basis, the author defines the specifics of collective and individual memory reveals its connection with the stable formal structures of historical narrative. In the study, the author uses a phenomenological approach based on the sociology of memory and historiographical methods.

Key words: individual memory, collective memory, historical memory, social memorialization, historical narrative, formal structures, social filters

© Доронина С. Г., 2020

For citation: Doronina, S. G. (2020). Sotsial'naya struktura proshlogo: individual'naya i kollektivnaya pamyat' [Social Structure of the Past: Individual and Collective Memory]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 36–43.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Введение

Историческое исследование, ориентированное на выявление способов регистрации прошлого, запечатленного в коллективной и индивидуальной памяти, заостряет внимание на следующей специфике исследуемого предмета: *как* и *что* мы помним. Историческая объективность не может являться предметом исследования по следующим причинам. Во-первых, по причине невозможности ее изучения вне познавательных и интерпретативных способностей человека; во-вторых, в силу того, что историческая память является комплексным, многоуровневым феноменом, существующим и развивающимся «в единстве своих содержательно-фактических и экзистенциально-смысловых компонентов, оформляющих поток внешнего и внутреннего опыта исторического субъекта» [6, 592].

Ряд исследователей, например, М. Хальб-вакс и П. Нора [14, 9] считают, что историографические методы исследования редуцируют историческую память к наиболее ценным, объективно-фактическим компонентам с целью построения непротиворечивой, целостной картины исторического прошлого. Этот парадокс хорошо иллюстрируется фактом избирательности индивидуальной памяти: существуют хорошо запоминающиеся события и те, что остаются в забвении. Биография (и/или автобиография), повествуя о прошлом как о чем-то целостном, связанном, законченном и само собой разумеющемся, в реальности представляет совокупность воспоминаний, обрывочных сведений, а также их вольную интерпретацию. Известный американский когнитивный психолог Элизабет Лофтус в своих работах прекрасно продемонстрировала этот парадокс, указав на невероятную пластичность памяти и легкость манипулирования ею [18].

По аналогии с биографическим описанием можно сказать: то, что принято в обществе безоговорочно называть историей, представляет собой общедоступную избирательную

коллективную память «человечества». По этой причине некоторые историки отказываются не только от исследования «самой по себе» истории, они отказываются с кропотливостью археолога реконструировать факты, являющиеся правдоподобными интерпретациями. Редуцировать историю к простой сумме единичных воспоминаний также не представляется возможным. Являясь продуктом социокультурного развития и многочисленных «мнемонических социальных сражений» [22, 97–99], историческая память представляет собой «набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексией о событиях прошлого» [11, 10].

Социальное измерение исторической памяти

Исследование социального измерения исторической памяти, раскрывающегося через фиксацию различных способов и форм запоминания прошлого, представляется наиболее интересным по следующим причинам. Во-первых, потому, что личностная самоидентификация, связанная с принадлежностью индивида к определенному социальному коллективу (группе, корпорации, нации т. д.), активно участвующего в формировании его мировоззрения, осуществляется только в рамках процесса социализации. Во-вторых, вместе с социализацией человек автоматически приобретает знание о коллективном прошлом, запоминание которого обусловлено существованием общих «свободных» мнемонических ассоциаций. По причине того что человек, обладающий индивидуальной памятью, постоянно включен в процесс коллективной и социальной меморизации, говорить об индивидуальных постижениях тайн прошлого и личных предпочтениях не представляется возможным.

Хорошо демонстрирует эти выводы пример, связанный с проведением, таких, казалось бы,

сугубо личных праздников, как день рождения, юбилей, свадьба и т. д., выбор и способ празднования которых обусловлены социальными традициями. Если говорить о национальных или религиозных праздниках, то в них, по мнению американского социолога Э. Зерубевель, «мнемоническая синхронизация» была и остается прототехнологическим предзнаменованием современной «глобальной деревни» [22, 97]. Причем в конституировании общей коллективной памяти фундаментальное значение приобретает не столько содержание того или иного события, сколько то, как оно вспоминается и маркируется. Например, празднование восточными славянами Радуницы или Пасхи не означает, что каждый из пришедших имеет достаточное представление о содержании и смысле этих событий, но хорошо демонстрирует преобладание коллективной памяти, в которой образ этого праздника запечатлен как значимое событие.

Речь идет о существовании ментальных безличных фильтров, влияющих на то, каким образом человек обрабатывает информацию и маркирует то или иное событие. К таким фильтрам можно отнести многочисленные ментальные схемы, формальные структуры сюжета, используемые человеком в качестве шаблонов. Техники запоминания представляют собой четко управляемый процесс, установленный социальными нормами памяти [Там же, 13, 84], в то время как сформированное в соответствии с ожиданиями определенных социальных и культурных установок воспоминание чаще всего является неосознанным и иллюзорным приобретением.

«Мнемоническая социализация» ведет к тому, что автобиография человека удлиняется и расширяется, поскольку включает в себя не только память о событиях, имеющих прямое отношение к личности, но и воспоминания о коллективном прошлом. Этот феномен можно наблюдать, например, на уроках обществознания и истории, в исторических музеях, в рамках которых знания о прошлом преподносятся и интерпретируются с общепринятой позиции. Менее заметные эффекты «социальной меморизации» можно обнаружить практически в любых микрособытиях повседневности, не имеющих четкой направленности и подчеркнутой значимости. Например,

национальный орнамент или символика на повседневных вещах, отсылающих к определенному контексту исторических событий, через которые индивидуальная память приобщается к коллективной. Во всех этих событиях присутствуют молчаливые правила запоминания прошлого, в результате чего заявление об автономии личных воспоминаний ставится под вопрос [12, 341–358; 15, 271–278].

Освобождая человека от личной ответственности, коллективная память как на макро-социальном, так и на микросоциальном уровне заменяет индивидуальную потребность в сохранении избирательной информации о прошлом. С помощью определенных формальных структур, которые, в случае употребления общих правил, облегчают процесс социализации, коллективная память вытесняет необходимость индивидуального и контекстуального понимания прошлого и акцентирует внимание на существовании универсальных схем, игнорирующих альтернативные интерпретации [22, 2–6, 20–22].

С одной стороны, человек обладает индивидуальной памятью, фиксирующей и сохраняющей значимые для нее события по неким произвольным субъективным правилам (речь не идет о биологических, нейрофизиологических, а также психологических особенностях), а с другой — существует коллективная память, структурная организация которой задается социальными нормами и правилами. В обоих случаях запоминание прошлого становится историей только в том случае, если появляются устойчивые формальные структуры, благодаря которым воспоминания становятся транзитивными.

Социальная и индивидуальная форма прошлого

Исходя из того, что не являющаяся простым воспроизведением прошлого или спонтанным процессом запоминания история представляет собой совокупность коллективных практик запоминания, интересно определить, как неструктурированные серии дифференцированных друг от друга событий конституируются в последовательные и целостные исторические повествования. Причем, по утверждению

некоторых исследователей, каждая культура имеет свои излюбленные сюжетные линии рассказов о прошлом, исторический и культурный контекст которых указывает на существование определенных традиций воспоминания [3; 13, 47, 65; 19, 18], схематичных форм повествований, редуцирующих исторические события к упрощенным сюжетным формам.

Примерами сюжетных линий повествования являются идеи бесконечного и постепенного прогресса, неизбежного регресса, циклического развития. Помимо сюжетов повествования о прошлом, имеющих четко направленный вектор движения, существуют другие, зигзагообразные, схемы, повествующие о процветаниях и упадке, отображающихся на исторической диаграмме пиками и спадами [17]. Плюрализм, представленный рядом повествований о прогрессе, упадке или их сочетании, задействует сюжетные линии, наделяющие историю объективным законом и целью.

В настоящий момент превалируют концепции, описывающие жизнь как ризому, развивающуюся сразу в нескольких направлениях. В этом случае повествование о прошлом представляет собой полилинейную конструкцию, не связанную с направленностью процесса [21, 51].

Исторический нарратив также может структурироваться путем дифференциации социально значимых исторических периодов, обладающих большой мнемонической плотностью, от незначительных и относительно «пустых» периодов [7, 318; 19, 212]. В этом случае повествования отличаются друг от друга мнемонической плотностью, под которой понимается интенсивность восприятия человеком или коллективом определенных исторических периодов, устанавливающих четкие границы между прошлым и настоящим.

Качественный подход ко времени позволяет описывать прошлое с помощью социальных категорий, дифференцирующих запоминающиеся, «насыщенные события» исторических периодов от «пустых», незначимых исторических «усыплений» [16, 75; 20, 212], подвергающихся социальному забвению. Техники запоминания и социальные фильтры создают условия для избирательного запоминания прошлого, в результате чего конструируется историческая

неоднородность повествований: одни периоды воспринимаются и вспоминаются как более интенсивные и значимые, другие — мимолетные и «темные» — остаются на задворках памяти. Качественная неоднородность идентичных временных интервалов акцентирует внимание не на хронологии событий, а на специфике социальных практик запоминания, порождающих феномен коллективной памяти, представляющей собой нечто большее, чем сумма индивидуальных воспоминаний.

Являясь по сути бимодальной системой, социальная форма прошлого обычно включает два хронологически плотных кластера, представляющих собой памятные и бесплодные события, отделенные друг от друга временными отрезками. Несмотря на общепринятую традицию устанавливать четкие границы между прошлым и настоящим, «бесплодными» и «пустыми» историческими событиями, эти условные временные интервалы не являются самостоятельными конструкциями, свободными от человеческого восприятия. В свое время К. Леви-Стросс отметил, что «меняющееся количество дат, применительно к периодам равной протяженности, измеряет то, что можно назвать напором истории: есть «горячие» хронологии, являющиеся хронологиями эпох, где, на взгляд историка, многие события имеют черту дифференциальных элементов; другие же, с точки зрения этого же историка (но не людей, их переживших), имеют весьма мало событий, а иногда и никаких» [7, 318]. Этот факт можно проиллюстрировать на примерах проведения ежегодных циклов памятных праздников, указывающих на существование изменчивой мнемонической плотности различных отрезков истории и отражающих неравномерное хронологическое распределение исторической «событийности».

По одной из гипотез кризис идентичности в современном мире вызван параллельным сосуществованием различных по структуре и сюжетной линии дифференцированных друг от друга нарративов, имеющих разную временную и пространственную организацию. В результате резкого ускорения социальных и технологических изменений происходит рост «одноразовых», быстро устаревающих повествований. В ответ на этот вызов возникает консервативное стремление сохранить

историческую преемственность, остановить изменения, угрожающие устойчивой традиции.

Одним из примеров, демонстрирующих данные тенденции, является повышенный интерес в постсоветских странах к своему коммунистическому прошлому. Возникают разнообразные виды ностальгии, проявленные в индивидуальной и коллективной форме, например, возрождаются пионерские и другие молодежные организации, широко используется символика прежних лет и др. Захлестывающая, как правило, во времена сильных политических, культурных или экономических кризисов волна ностальгии является попыткой восстановить историческую непрерывность и сохранить идентичность путем получения доступа к безвозвратно ушедшему прошлому [8; 10, 9–36].

Феномен ностальгии неизбежно поднимает философский вопрос об исторической преемственности: как практически разрозненные и дифференцированные события со временем превращаются в совокупность «последовательных восприятий»? Поскольку этот феномен напрямую связан со способами нашего восприятия, то речь идет не о непрерывности исторических событий, а о попытках ментальной интеграции разъединенных друг с другом моментов времени. Мнемонические усилия по интеграции отдельных временных интервалов позволяют создать в индивидуальной памяти непрерывный образ объекта (Гуссерль, Бергсон). Такой же метод используется для создания прочной «целостной исторической ткани», не терпящей «ран» исторических разрывов [16, 47].

Имитация прошлого в сочетании с постоянными попытками его возобновления (репликацией) создает иллюзию постоянного реального физического контакта безвозвратно ушедшего с присутствующим настоящим, благодаря чему генерируются иконические представления об истории [22, 70–71]. К таким попыткам можно отнести многочисленные современные архитектурные проекты, использующие древние, казалось бы, уже не актуальные элементы дизайна в современных постройках. На мой взгляд, эту особенность хорошо иллюстрируют современные решения, реализованные в Батуми. Там есть своя венецианская площадь Пьяцца (подлинник которой принадлежит

эпохе XVII в.), площадь Аргонавтов в честь участников похода в Колхиду из древнегреческой мифологии, а колорит национальных достопримечательностей подчеркивается советским наследием (по окраинам города тянутся знакомые с детства бетонные коробки) и современными строениями в постмодернистском стиле. Такой эклектизм свидетельствует не только о попытках возобновить прошлое, но и демонстрирует отчаянное стремление, преодолевая пространственно-временные рамки, уменьшить исторический разрыв.

Многое из того, что мы понимаем под термином «традиция», представляет собой синтез различных ритуальных усилий по интеграции в коллективное прошлое. В случае если локальные традиции распадаются, возникает эффект смешанных типов идентификации, формирующихся под воздействием объективного процесса глобализации. На сегодняшний момент сохранившиеся религиозные ритуалы, всевозможные этикетки, этнические кухни и многое другое так причудливо перемешались, что стали еще более впечатляющими и поэтому запоминающимися. Старо-новые традиции свидетельствуют о многочисленных попытках создать иллюзию постоянства и возобновляющегося прошлого.

Наиболее ярко симулятивные попытки «пережить» прошлое проявляются в столь любившихся современному человеку ритуальных театрализованных представлениях. Если говорить о Беларуси, то за последнее время количество таких реконструкций значительно увеличилось: ежегодный фестиваль «Менск Старажытны»; военно-исторические реконструкции, посвященные Дню Победы; многочисленные рыцарские клубы, воссоздающие исторические события. Такая квазисинхронность в совокупности с постоянством места достигает своей цели — путем установления определенных циклов «воскресить» коллективное прошлое и достичь слияния с ним [2].

В синхронизации «сейчас» и «тогда», пусть даже в символической форме, проявляется консервативное стремление человека к постоянству, приводящее к ригидным схемам восприятия мира. С точки зрения индивидуальной синхронизации интересны примеры, когда биографические несоответствия между прошлым и настоящим личности приводили

к социальной нетерпимости, что, по мнению Е. Зарубееля, делает шантаж весьма прибыльным бизнесом [23, 104–105]. Дискурсивное производство непрерывного биографического повествования — это, по сути, воспроизведение единичных элементов прошлого, соответствующих существующей на данный момент личностной идентификации, и преуменьшение или абсолютное игнорирование несовместимых с этим моментом частей личной биографии. Написание личной истории требует от создателя умения различать «существенные» аспекты биографии и «случайные», не соответствующие идентичности настоящего момента. То же можно сказать и о коллективных повествованиях, в которых «за скобки» выносятся целые временные интервалы, не соответствующие настоящим представлениям о том или ином явлении, личности, событии.

Мысленно сконструированные цепочки воспринимаются людьми за реальные временные интервалы исторического расстояния, с помощью которых измеряется и сжимается социальная, историческая и даже географическая дистанция. По этой причине так тревожно воспринимаются людьми «переходные периоды», связанные с кардинальными переменами, нарушающими иллюзию целостности и защищенности. Естественной реакцией на такие перемены является сопротивление, выражающееся в следующем императиве: любой ценой сохранить преемственность. Консервативная тенденция прославлять светлое легитимное прошлое и стремление недооценивать настоящее может проистекать из страха перед будущим, угрожающим неизвестностью, в то время как циклический возврат в прошлое обеспечивает иллюзию комфортного и знакомого постоянства.

Заключение

Неоднозначность «обращения» с прошлым позволяет говорить о существовании социально-психологического контекста коллективных воспоминаний, степень влияния которого на локальные сообщества зависит от практик запоминания и селекции воспоминаний. Более того, как считают некоторые исследователи, именно участие индивидуальной памяти

человека в социальных играх, делает возможной любую умственную интеграцию [14, 121, 128]. Это лишний раз демонстрирует, что индивидуальная и коллективная память, являющиеся продуктом социальных правил, принятых в обществе, используются в качестве ресурса «безболезненной» идентичности.

Не будет преувеличением сказать, что удвоенное значение памяти (коллективной и индивидуальной) повышает уровень человеческой ответственности, вызывающей к осознанному и правдивому исследованию прошлого. Способы, которыми человек запоминает и описывает прошлое, напрямую связаны с тем, как он понимает себя и насколько готов нести ответственность за собственное и коллективное настоящее [4, 76–79]. Поэтому, по мысли белорусского философа В. Б. Еворовского, «любая попытка самостоятельно мыслить потребует создания истории самого себя, понимания того, что отличает мою историю от истории другого» [5, 36–37].

Поскольку человеческая память не только сохраняет прошлое в форме различных легитимных репрезентаций, но и принимает участие в оценке знания этих воспоминаний, то историческое знание, которое, по мнению А. Меггила, является «формой памяти... связывающей прошлое, настоящее и будущее в общей структуре воспоминания» [8, 98], не может быть бесстрастным и отстраненным.

Более беспристрастный и, следовательно, объективный подход связан с плюралистическим взглядом на историю, учитывающим факт существования различных социально ангажированных мнемонических практик и механизмов репрезентации [4, 76–79]. Такой подход подвергает критике не саму историю, а лишь узкий и однозначный взгляд на прошлое, который, по мысли голландского философа Ф. Р. Анкерсмита, является «интеллектуальной ампутацией» [1, 14]. Анализ вариативных моделей организации прошлого позволяет установить множественную перспективу исследования, нацеленную на создание объемной картины многослойной и многогранной истории.

Исследование социального измерения исторического прошлого позволило выявить социально-психологический контекст коллективной и индивидуальной памяти. Установлено, что степень влияния социально-психологического

контекста на общественное существо (индивид, группа, коллектив, сообщество и т. д.) напрямую зависит от практик запоминания, благодаря которым формируются исторические повествования, осуществляется корреляция между индивидуальной и коллективной памятью. Определено, что индивидуальная память,

включенная в процесс коллективного запоминания, является одновременно и инструментом, и участником передачи, трансляции и интерпретации коллективных воспоминаний о прошлом, передающихся в форме устных и письменных традиций, материальных памятников и других артефактов.

Список литературы

1. Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М. : Европа, 2007.
2. Васильев А. Г. Места памяти // Теория и методология исторической науки / под. ред. О. В. Воробьева. М. : Аквилон, 2016. С. 263–267.
3. Васильев А. Г. Традиция и культурная память в контексте социальных инноваций // Человек и культура. 2015. № 1. С. 79–91.
4. Доронина С. Г. Социальная структура прошлого // Интеллектуальная культура Беларуси: когнитивный и прогностический потенциал социально-философского знания : материалы Четвертой междунаро. науч. конф. : в 2 т., Минск, 14–15 ноября 2019 г. / редкол.: А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. Минск : Четыре четверти, 2019. Т. 2. С. 76–79.
5. Евароўскі В. Б. Нацыянальная філасофія Беларусі: тэорыя, архелогія, гісторыя, генеалогія, школа : дис. ... канд. филос. наук. Мінск : Беларуская навука, 2014.
6. Капитонова Т. А., Белокрылова В. А., Никитина Ю. Ф. Исследования исторической памяти: динамика индивидуального и коллективного начал : материалы междунаро. науч. конф. и X науч.-теорет. семинара, Минск, 17–18 мая 2016 г. : в 2 ч. / науч. ред. совет: А. В. Данильченко [и др.]. Минск : БГУ, 2016. Ч. 2. С. 591–594.
7. Леви-Стросс К. Первобытное мышление / пер. с фр. В. Иванова. М. : Республика, 1994.
8. Меггил А. Историческая эпистемология / пер. с англ. М. Кукарцевой и др. М. : Канон+ : РООИ Реабилитация, 2007.
9. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 391–403.
10. Прошлое для настоящего: История-память и нарративы национальной идентичности : коллектив. моногр. / под. ред. Л. П. Репиной. М. : Аквилон, 2020.
11. Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания. М. : ГУ ВШЭ, 2003.
12. Fivush R., Haden C., Reese E. Remembering, Recounting, and Reminiscing: The Development of Autobiographical Memory in Social Context // Rubin D. C. Remembering Our Past : Studies in Autobiographical Memory. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. P. 341–358.
13. Graham G. The Shape of the Past: A Philosophical Approach to History. Oxford : Oxford University Press, 1997.
14. Halbwachs M. The Collective Memory. N. Y. : Harper and Row, 1980.
15. Hirst W., Manier D. Remembering as Communication: A Family Recounts Its Past // Rubin D. C. (Ed.) Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory. Cambridge, 1996. P. 271–290.
16. Kubler G. The Shape of Time. New Haven, Conn. : Yale University Press, 1962.
17. Lasch C. The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. N. Y. : W. W. Norton, 1991.
18. Loftus E. Illusions of Memory // Proceedings of the American Philosophical Society. 1998. March. Vol. 142 (1). P. 60–73.
19. Mandler J. M. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Hillsdale, N. J. : Lawrence Erlbaum, 1984.
20. Sorokin P. A. Sociocultural Causality, Space, Time. A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science. Durham, North Carolina : Duke University Press, 1943.
21. Gould S. J. Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History. N. Y. : W. W. Norton, 1989.
22. Zerubavel E. Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997.
23. Zerubavel E. Personal Information and Social Life // Symbolic Interaction. 1982. Vol. 5(1). P. 104–105.

References

1. Ankersmit, F. R. (2007). *Vozvyshennyi istoricheskii opyt* [A Magical Historical Experience]. Moscow: Evropa.
2. Vasil'ev, A. G. (2016). Mesta pamyati [Places of Memory]. In O. V. Vorob'eva, *Teoriya i metodologiya istoricheskoi nauki*, 263–267. Moscow: Akvilon.
3. Vasil'ev, A. G. (2014). Traditsiya i kul'turnaya pamyat' v kontekste sotsial'nykh innovatsii [Tradition and Cultural Memory in the Context of Social Innovation]. *Chelovek i kul'tura*, 1, 79–91.
4. Doronina, S. G. (2019). Sotsial'naya struktura proshlogo [Social Structure of the Past]. In A. A. Lazarevich (ed.), *Intellektual'naya kul'tura Belarusi: kognitivnyi i prognosticheskii potentsial sotsial'no-filosofskogo znaniya: materialy Chetvertaya mezhduнародnaya konferentsiya: v 2 t., Minsk, 14–15 noyabrya 2019*, 2, 76–79. Minsk: Chetyre chetverti.
5. Evaroŭski, V. B. (2014). *Natsyanal'naya filasofiya Belarusi: teoryya, arkhelogiya, gistoryya, genealogiya, shkola* [National Philosophy of Belarus: Theory, Archeology, History, Genealogy, School]. Minsk: Belaruskaya navuka.

6. Kapitonova, T. A., Belokrylova, V. A., Nikitina, Yu. F. (2016). Issledovaniya istoricheskoi pamyati: dinamika individual'nogo i kollektivnogo nachal [Historical Memory Studies: Dynamics of Individual and Collective Beginnings]. *Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii i Kh nauchno-teoreticheskogo seminara. Minsk, 17–18 maya 2016: v 2-kh ch.*, 2, 591–594. Minsk: BGU.
7. Levi-Stross, K. (1994). *Pervobytnoe myshlenie* [Primitive Thinking]. Moscow: Respublika.
8. Meggil, A. (2007). *Istoricheskaya epistemologiya* [Historical Epistemology]. Moscow: Kanon+ : ROOI Reabilitatsiya.
9. Nora, P. (2005). Vsemirnoe torzhestvo pamyati [World Commemoration]. *Neprikosnovennyi Zapas*, 2–3, 391–403.
10. Repina, L. P. (ed.) (2020). *Proshloe dlya nastoyashchego: Istoriya-pamyat' i narrativy natsional'noi identichnosti: kollektivnaya monografiya* [The Past for the Present: History-memory and Narratives of National Identity: a Collective Monograph]. Moscow: Akvilon.
11. Repina, L. P. (2003). *Kul'turnaya pamyat' i problemy istoriopisaniya* [Cultural Memory and Problems of Historical Writing]. M.: GU VShE.
12. Fivush, R., Haden, C., Reese, E. Remembering, Recounting, and Reminiscing: The Development of Autobiographical Memory in Social Context. In D. C. Rubin. *Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory*, 341–358. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Graham, G. (1997). *The Shape of the Past: A Philosophical Approach to History*. Oxford: Oxford University Press.
14. Halbwachs, M. (1980). *The Collective Memory*. New York: Harper and Row.
15. Hirst, W., Manier, D. (1996). Remembering as Communication: A Family Recounts Its Past. In D. C. Rubin (Ed.), *Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory*, 271–290. Cambridge: Cambridge University Press.
16. Kubler, G. (1962). *The Shape of Time*. New Haven. Conn.: Yale University Press.
17. Lasch, C. (1991). *The True and Only Heaven: Progress and Its Critics*. New York: W. W. Norton.
18. Loftus, E. (1998, March). Illusions of Memory. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 142 (1), 60–73.
19. Mandler, J. M. (1984). *Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory*. Hillsdale; N. J.: Lawrence Erlbaum.
20. Sorokin, P. A. (1943). *Sociocultural Causality, Space, Time. A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science*. Durham; North Carolina: Duke University Press.
21. Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. New York: W. W. Norton.
22. Zerubavel, E. (1982). Personal Information and Social Life. *Symbolic Interaction*, 5 (1), 104–105.
23. Zerubavel, E. (1997). *Social Mindscales: An Invitation to Cognitive Sociology*. Cambridge: Mass., Harvard University Press.

Сведения об авторе

Доронина Светлана Геннадиевна, аспирант Центра историко-философских и компаративных исследований, Институт философии Национальной академии наук, г. Минск, Беларусь

Information about the author

Svetlana G. Doronina, Graduate Student, Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

УДК 94:159.953 + 930 + 159.94 + 316.346.36

Василий Николаевич Сыров

Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: narrat@inbox.ru

Пути и способы исторического примирения: профессиональное сообщество и проблема конфликтующих нарративов о прошлом

В статье обсуждается вопрос о возможности и перспективах создания так называемых разделяемых историй как способа преодоления конфликтов в сфере памяти. Отмечается, что способ связан с требованием опираться на факты при их создании и зачастую основан на упрощенном понимании природы исторического знания, а призыв к опоре на мультиперспективность часто не учитывает имплицитной или эксплицитной ориентации форм исторического знания на обоснование идентичности, что противоречит или исключает возможность согласования исторических нарративов. Показано, что разработка разделяемых историй требует экспликации и трансформации теоретическо-методологических оснований, лежащих в их основе: концепций истории и трактовки времени. Утверждается необходимость новых нарративных форматов, которые могли бы непротиворечиво связать в некоторое единое целое многообразный и зачастую весьма болезненный для национального самосознания эмпирический материал, который стал актуализироваться в ходе обсуждения темы памяти.

Ключевые слова: историческая память, историческое знание, разделяемая история, исторический нарратив, темпоральность

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-011-00658 «Травмы исторической памяти в сетевом обществе: медиарепрезентации, социальные риски и стратегии детравматизации».

Для цитирования: Сыров В. Н. Пути и способы исторического примирения: профессиональное сообщество и проблема конфликтующих нарративов о прошлом // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 44–52.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Vasilij N. Syrov

Tomsk State University, Tomsk, Russia

The Professional Community and the Problem of Conflicting Narratives about the Past

The article discusses the possibility and prospects of creating the so-called "shared stories" as a way to overcome conflicts in the memory sphere. It is noted that the method associated with the requirement to rely on facts in their creation is often based on a simplified understanding of the nature of historical knowledge, and the call for reliance on multi-perspective often does not take into account the implicit or explicit orientation of forms of historical knowledge on the justification of identity, which contradicts or excludes the possibility of coordinating historical narratives. It has been shown that the development of shared stories requires the explication and transformation of the theoretical and methodological foundations that underlie them: the concepts of history and the interpretation of time. It is argued that there is a need for new narrative formats that could consistently link into a single whole a diverse and often very painful empirical material for national identity, which began to be updated during the discussion of the topic of memory.

Key words: historical memory, historical knowledge, shared history, historical narrative, temporality

For citation: Syrov, V. N. (2020). Puti i sposoby istoricheskogo primireniya: professional'noe soobshchestvo i problema konfliktuyushchikh narrativov o proshlom [The Professional Community and the Problem of Conflicting Narratives about the Past]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 44–52.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Актуализация темы памяти повлекла за собой, как известно, целый спектр тем, вопросов и новых задач. В частности, стали очевидными не просто разнообразие и разнонаправленность векторов памяти, но и их конфликтный характер, в крайней форме выразившийся в «войнах памяти». Эти конфликты могли таиться, игнорироваться официальной историографией, подавляться официальной идеологией или, наоборот, эксплицироваться и даже создаваться в политических целях. Но так или иначе они повлекли за собой относительно новую задачу, которая нашла свое выражение в разработке разделяемых историй или политике «наведения мостов». В данном контексте разделяемые истории — это не просто общая, как правило национальная, история, являющаяся плодом конвенций, закрепленная в официальной идеологии и учебниках истории. Это скорее внутри- или межнациональная история, ставшая плодом диалога и примирения позиций различных социальных, культурных, национальных групп.

Резонно утверждать, что такая история не является или не должна являться

результатом компромисса, который строится на стремлении угодить всем сторонам конфликта. Конечно, она основывается на требовании максимально услышать или выслушать все (альтернативные, подавленные) голоса для составления полной картины соответствующего фрагмента прошлого. Но суть этой картины, говоря традиционным языком, в установлении исторической истины, а не в попытке угодить всем.

Как следствие, такой путь предполагает возможность построения весьма нелицеприятного повествования, которое будет требовать, выражаясь высокопарно, способности честно взглянуть в лицо истине, взять на себя ответственность за действия, совершенные современниками или предшественниками. Процедура довольно болезненная. Как отметил в свое время Йорн Рюзен, «никто не может быть нейтральным, когда твоя собственная идентичность ставится под вопрос» [10, 128]. Соответственно такой процесс предполагает как создание подобного рода историй, так и их согласование с нарративами, хранящимися в персональной и коллективной памяти.

В данной статье мы остановимся на анализе первого аспекта, связанного с разработкой и созданием разделяемых или консенсусных историй. Цель данного анализа будет заключаться в экспликации некоторых подводных камней, которые могут встретиться на этом пути, и предложении некоторых способов их решения. Поскольку речь пойдет о создании историй, то большее внимание будет уделено вопросам эпистемологическим, а не вопросам этики или социальной практики.

Представляется, что обсуждение вопроса о создании разделяемых историй затрагивает два аспекта: кто ответствен за их производство и что следует учесть при этом. Что касается первого аспекта данного вопроса, то ответ кажется очевидным: эта задача находится в компетенции профессионального сообщества. Но по этому поводу резонно предположить, что как намеренная задача вряд ли она попадала в центр внимания исследовательского сообщества до актуализации темы памяти (особенно для отечественных исследователей). В лучшем случае формирование разделяемых историй становилось побочным продуктом их деятельности. По крайней мере, бельгийский исследователь Бербер Бевернейдж отмечает наличие новых черт в современной практике исторического примирения, а именно использование разделяемых историй как способа переосмысления исторического дискурса и дискурса памяти в целом и акцентирование на ценности мультиперспективной истории или множественности интерпретаций [4, 74].

В любом случае превращение разделяемых историй в сознательную цель деятельности, на наш взгляд, актуализирует как минимум два вопроса и предполагает следующие версии ответов. Во-первых, меняет ли такое положение дел что-либо в профессиональных компетенциях сообщества? По этому поводу можно предположить, что создание разделяемой истории как сознательно поставленной цели либо будет относиться к деятельности историка не столько как члена профессионального сообщества, сколько как обеспокоенного гражданина, либо вообще стоит говорить об изменении целей и задач профессиональной деятельности. Во-вторых, меняет ли постановка вышеописанной задачи нечто в содержании создаваемого продукта? Говоря иначе, влияет

ли то, как писать, на то, что писать, или истина, даже историческая, более-менее независима от контекста?

Проблема, как писать разделяемые истории и какого рода историями они должны быть, также оказывается не столь однозначно решаемой. Вышеупомянутый Бевернейдж фиксирует здесь как минимум две альтернативы. Первая (иногда именуемая позитивистской) строится на убеждении в существовании объективной истины, выходящей за пределы субъективистских и зачастую политически ангажированных интерпретаций, вторая «подчеркивает важность актуализации мультиперспективности и настаивает, что нарративные различия отражают субъективные различия в интерпретации, которые зачастую оказываются одинаково легитимными» [4, 75–80]. Что касается первой альтернативы, то она строится на убеждении в существовании объективных фактов, независимых в конечном счете от всяких интерпретаций. Вторая альтернатива предполагает реализацию в виде параллельных или смешанных нарративов, представляющих видение ситуации разными сторонами конфликта (в рассуждениях Бевернейджа именно арабо-израильского).

Призыв к множественности описаний в литературе видится к настоящему времени наиболее перспективным путем создания разделяемых историй. Но стоит отметить и те трудности, которые могут встать на этом пути. Начнем с предположения, что представленные альтернативы, которые анализируемый выше автор называет позитивистской и постмодернистской, можно трактовать как две стороны одной медали. С одной стороны, это вера в истинность фактов, с другой — вера в равноправие интерпретаций в силу природы самой интерпретации. Если это так, то они парадоксальным образом разделяют одну и ту же версию познания, которая явно или неявно строится на иерархии относительно независимых друг от друга исследовательских процедур: сначала поиск фактов, а потом их интерпретация. Но еще со времен Коллингвуда известно, что исторический источник сам по себе фактом не является и превращается в него в результате серии исследовательских процедур, включающих в себя гипотезу той или иной степени общности и отрефлексированности,

ее направленность на интерпретацию более или менее обширного круга источников и т. д. С точки зрения такого подхода любое знание можно считать интерпретацией, а факт — следствием конвенций профессионального сообщества по поводу предпочтительности той или иной интерпретации.

Тогда резонно предположить, что диалог интерпретаций как конечный продукт в сфере именно исследовательской деятельности труднопредставим. Но поле совместного обсуждения может трансформироваться. Речь должна идти о терпимости к многообразию и разнообразию вводимых в оборот источников и к принятию гипотезы, способной их непротиворечиво связать. Наверное, это и есть диалог как форма современного стремления к истине, которое работает, если, конечно, имеет место воля к ней. С этой точки зрения мультиперспективность скорее следует считать не финалом, а началом диалога как в сфере познания, так и за ее пределами. Резонно, что первоначально нужно выслушать мнение друг друга, чтобы выявить, так сказать, реальные болевые точки. Хотя если, как пишет норвежский автор Надим Хури, не ставить столь амбициозные цели, как достижение консенсуса, а стремиться к расширению понимания [8, 99], то стремление к множественности описаний можно считать оправданным не только тактикой, но и стратегией.

Стоит обратить внимание еще на один аспект. В статье о современных трактовках крестьянского восстания под руководством А. С. Антонова в 1920–1921 гг. О. Головашина отмечает конфликтный характер трактовок описываемых событий. Так, в современной литературе «события на Тамбовщине анализируются в контексте аграрной революции, крестьянской революции, “Большого Восстания” и представляются как причина не только нэпа, но и отказа от продолжения революционного освободительного похода Красной армии в Европу и самой идеи мировой революции... Если в советской историографии доминировали негативные оценки восстания, то в современных публикациях негатив в основном на стороне тех, кто подавлял антоновщину...» [6, 308]. Автор подчеркивает, что «распространение терминов “народное сопротивление”, “антибольшевистское

движение”, “крестьянское повстанчество”, частично перешедших в современные работы из дискурса Гражданской войны, эмигрантской историографии и западных публикаций, оказывается не только следствием переосмысления изучаемых событий, но и показателем смены политической обстановки» [6, 308].

Головашина делает упор на связь трактовок восстания с изменением политической ситуации, что не вызывает сомнений. Но хотелось бы несколько сместить акцент. Во-первых, мы вполне можем вписать описанную автором ситуацию в контекст темы разделяемых историй. Во-вторых, становится очевидным, что поиск исторической истины зачастую связывается с простым переворачиванием оппозиции красные/белые, что существенным образом упрощает трактовку исследуемых событий и толкает все затронутые темой стороны к игнорированию неудобного эмпирического материала. В-третьих, автор справедливо отмечает сохраняющееся «отсутствие адекватного языка описания и поиски новых теоретических моделей», вытекающие как раз из некритического принятия упрощенной трактовки [Там же, 312]. Ну и, в-четвертых, по словам автора, «спустя несколько поколений большинство тамбовчан имеют близких родственников, связанных с обоими сторонами восстания, и высказывать однозначные оценки для них — это осудить какую-то часть своей семьи» [Там же, 313].

Осознание данного обстоятельства означает, что даже если говорить о чисто эпистемологическом аспекте, обсуждение вопроса о том, какими должны быть разделяемые истории, не может быть сведено к тезису о необходимости поиска объективных фактов. Выше уже отмечалось, что современные трактовки исторического познания рассматривают исторический факт не как предпосылку, а как финал исследования. Такое положение дел радикально меняет статус эмпирического материала, а именно ставит его в зависимость от выдвинутой гипотезы по поводу сути той или иной исторической ситуации. Эвристическая ценность такой гипотезы будет определяться ее способностью дать удачное объяснение совокупности разнообразных и зачастую внешне противоречивых источников.

Если это так, то становится понятным критический пафос авторов статей по поводу

конфликтующих версий трактовки некоторых событий прошлого. Многие исследователи в той или иной форме призывают к расширению или изменению контекста описываемых событий. Как правило, в большинстве случаев такое расширение связывается с необходимостью преодоления так называемых этноцентристских подходов. Как отмечает Даниэль Леви, если традиционные нарративы фактически ставят исторические события на службу историческим мифам, обосновывающим формирование наций, то нарративы, которые он именует рефлексивными, обращают внимание на особые события, которые свидетельствуют о несправедливости, проявленной собственной нацией [9, 19]. Но Леви правомерно отмечает, что речь должна идти не просто о включении таких событий в состав собственных национальных историй, а об отказе от так называемого методологического национализма, который проявляется в явном или неявном допущении, что национальное государство остается конститутивным принципом (или категорией) для понимания и описания современного социального и политического порядка. Преодоление такого подхода, по его мнению, связывается с постановкой под сомнение тех социальных онтологий, которые берут эту категорию за точку отсчета [Там же, 15–16]. Иначе говоря, речь должна идти или начинаться не просто с пересмотра содержания историй, а с переосмысления трактовок времени, конституирующих исторические нарративы (или понимание истории в целом) и обосновывающих тем самым такой национализм [Там же, 28]. По сути, это шаг к другому пониманию истории и ее места в культуре.

Почему так? Современные авторы неоднократно отмечают, что «телеологическая непрерывность является доминантным концептом времени, что определяет идею истории в основных нарративах» [10, 122–123]. Такая непрерывность находит свое выражение в концепции «нации», которая подается как «сообщество судьбы» [5, 179], как нечто в более-менее целостном виде переданное предками и завещанное настоящему (потомкам) из прошлого. Соответственно трактовка истории как непрерывной линии, движущейся из прошлого в будущее, предполагает и трактовку идентичности как возникающей в результате

некоторого учреждающего архетипического события и сохраняющей свою сущность во временном потоке. Рюзен именно такой подход называет этноцентристским и предостерегает, кстати, от умножения подобных этноцентристов посредством критики западного этноцентризма и замещения его облагороженными образами незападных культур [11, 58]. Таким образом, можно утверждать, что линейная концепция времени лежит в сердце этноцентристских нарративов или методологического национализма и предполагает трактовку истории как серии успехов или испытаний, в которых формируется и одновременно укрепляется идентичность. Все эти компоненты взаимодополняют друг друга, причем, рискуем предположить, изъятие одного такого элемента невозможно при одновременном сохранении других.

Тезис о необходимости рефлексии над теоретико-методологическими основаниями формирования исторических нарративов для создания разделяемых историй стал достаточно популярным в современной исследовательской литературе. Как отмечает израильский автор Амаль Джамал, «согласованность национального нарратива и контроль над течением времени имеют ключевое значение для социальной сплоченности и национального суверенитета. Поэтому в конфликтных ситуациях конфликтующие стороны конкурируют за контроль над прошлым и настоящим» [7, 366]. Он подчеркивает, что одной из стратегий такого контроля является стремление представить время своей группы как линейно прогрессивное, наполненное значимыми (конституирующими идентичность) событиями, и опустошить или приостановить время оппонентов [Там же]. Автор также неоднократно указывает, что выдвижение в качестве альтернативы понимания времени, выступающего зеркальным отражением господствующего нарратива, только способствует разжиганию конфликта [Там же, 374]. Поэтому Джамал настаивает на необходимости преодоления убеждений о существовании фиксированного направления течения времени, упорядочивающего события и придающего им тем самым легитимность и ощущение исторической достоверности [Там же, 366]. Подход, который он называет трансформирующей темпоральностью, предполагает

трактовку времени, описываемую в терминах гибкости, текучести, отрицания жесткой связи и жестких границ между прошлым, настоящим и будущим, признания множественности временных потоков. Предполагается, что такое толкование времени может способствовать наведению мостов между конкурирующими нарративами.

Критическая рефлексия над основаниями национальной памяти предпринята в рассуждениях вышеупомянутого Хури, отмечающего что национальные нарративы, как правило, коммуникативно связаны только с членами нации, предполагают тождество территории и памяти (типа мы всегда здесь жили) и носят локальный характер (предполагают видение прошлого с позиций нации или этноса) [8, 91]. Очевидно, что такие трактовки прошлого не способствуют преодолению или смягчению национальных конфликтов, потому автор предполагает, что возможные пути примирения стоит связывать с расширением контекста осмысления прошлого за счет включения в коммуникацию всех тех, кто затронут так или иначе национальными нарративами (а не только членом нации), видения прошлого с более универсалистских позиций и, что примечательно, посредством детерриториализации памяти [Там же, 110].

Конечно, преодоление разделенной памяти и разделенной истории связано не только с переосмыслением национальных нарративов, а с любой ситуацией, где эксплицитно или имплицитно доминирует нарратив, построенный на видении с определенной позиции и подавлении иных голосов со своим видением событий прошлого. С этой точки зрения, видимо, стоит оценивать пути, предлагаемые авторами для обсуждения и возможного решения проблемы. В свете обсуждения места и роли времени в конструировании форматов памяти и истории резонно предположить, что общее направление переосмысления стоит связывать с отказом от линейных трактовок времени не только на уровне метанарративов (типа теорий прогресса), но и на уровне локальных, в том числе национальных, историй. Дело здесь не только в новом мировоззренческом контексте, связанном с толерантностью, плюрализмом и релятивизмом, особенно если он сводится лишь к признанию многообразия и многовариантности исторических

нарративов и нарративов памяти. Иначе все свелось бы в конечном счете к очередным взаимным обвинениям в постправде, а именно к упрекам в замалчивании одних исторических фактов и выпячивании других. Поэтому речь должна идти об историях (нарративах), которые могли бы непротиворечиво связать в некоторое целое весь тот многообразный и зачастую весьма болезненный для национального самосознания эмпирический материал, который стал подниматься и актуализироваться в ходе обсуждения темы памяти и предлагаемой политики сожаления. Создание таких историй требует выработки других форматов, в которые они могли бы быть упакованы.

Стоит тогда предположить, что концепция так называемого гибкого и подвижного времени, на основе которого строились бы такие форматы, включала бы в себя следующие компоненты. Во-первых, время следовало бы трактовать не как единый поток, а как многообразие потоков. Это означало бы, в частности, отказ от жесткого разделения частей прошлого, настоящего и будущего или понимание, что то, что для одних уже стало прошлым, для других еще остается частью настоящего, например, в форме поминального сообщества [2, 194]. Понятно, что такая картина времени еще не является достаточной для наведения мостов между нарративами, поскольку не предполагает согласованности или скоординированности этих времен. Во-вторых, время следует трактовать не как непрерывный поток, где прошлое детерминирует настоящее и где поэтому актуализируется аспект каузальности и преемственности, а как серию разрывов или завершенностей. Иначе говоря, история при таком подходе трактовалась бы не просто как нечто удаленное во времени, но и как нечто завершившееся (что должно существенно изменить наше представление о характере воздействия так понятого прошлого на настоящее). Ну и наконец, отказ от времени как непрерывного детерминированного потока предполагает его трактовку как разветвленности и альтернативности направлений. Это означает учет роли случайности или понимание, что события всегда могли пойти другим путем.

Как правило, такие трактовки выполняют две взаимосвязанные задачи. Во-первых, они должны освободить от власти определенных

предрассудков, а именно от убеждения в ответственности некоторых (этноцентристских) представлений о времени. Во-вторых, предоставить рамку для реализации процедуры наведения мостов между конкурирующими нарративами. Что касается вариантов таких рамок, то можно отметить следующее. Так, Хури пишет о том, что универсалистский подход расширяет ценность прошлого одного сообщества для других [8, 105]. Например, исторический опыт одной страны может быть интерпретирован как универсальный исторический опыт, значимый не для одной культуры, а для человечества в целом. В частности, он предлагает рассматривать Холокост и Накбу как различные выражения сходной исторической динамики, которая связывает их с геноцидом армян, этническими чистками в бывшей Югославии и колониализмом в Америке [8, 105].

Бевернейдж правомерно указывает на необходимость соответствующей философии истории для обеспечения продуктивности разделяемых историй [4, 82–83]. Он полагает, что в этом плане идеи Хайдена Уайта об архетипических сюжетных структурах могут получить второе дыхание [Там же, 83]. Речь идет о согласии в совместной трактовке конфликтного прошлого как трагического опыта. Важный аспект такого прочтения прошлого заключается в способности этого формата вывести мысль за пределы простого однозначного распределения позиций исторических агентов (актеров, персонажей) на правых и неправых. Если обратиться к эпистемологическому аспекту формата опыта и формата трагедии, то резонно утверждать, что они обеспечивают вполне приемлемую рамку для включения в себя самых разнообразных и внешне противоречивых исторических свидетельств.

Кроме того, подобного рода форматы предоставляют вполне приемлемую универсалистскую позицию, которая заключается в связи эпистемологии и этики. Как отмечал Франклин Анкерсмит, парадоксальным образом политические и моральные ценности часто являются тем путем, на котором историческая истина может себя выразить [1, 4–5]. Резонно полагать, что воплощением таких ценностей может стать идея уважения к достоинству личности как позиция, с которой может интерпретироваться эмпирический материал. Дело, конечно,

не в том, чтобы судить деяния исторических персонажей с позиций современных ценностей, а в том, чтобы обоснованно толковать смысл исторического опыта. Например, достойны ли оправдания результаты, полученные той или иной ценой.

Ну и наконец, как отмечалось выше, предложенные трактовки времени заставляют иначе оценить роль прошлого для современности. Так, если мы полагаем, что история (или истории) есть нечто, что завершилось, или есть серия (серии) завершенностей, то резонно предположить, что не она (они) уже не определяет(ют) нас. Поэтому одна из задач историка как раз и заключается в его способности освободить нас от власти тех или иных вещей, показав, что они уже являются (стали) прошлым. В частности, они могут избавить от стремления использовать историю для обоснования тех или иных аспектов современности, оправдания тех или иных притязаний, определения собственной идентичности и т. п. Эти и подобные им намерения всегда опасны тем, что угрожают стереть грань между знанием и мифом.

Но, с другой стороны, та же концепция времени обеспечивает реализацию обратной процедуры, показывая, что временная удаленность тех или иных событий еще не является гарантией превращения их в прошлое. Такой подход становится основанием для отмены срока давности для определенных типов преступлений и изменения форм ответственности за прошлое в целом. Поэтому, кстати, в большинстве статей, анализирующих проблемы насилия, совершенного в прошлом, и способы обеспечения справедливости по отношению к жертвам насилия, речь идет, по сути, о травматических событиях, остающихся скорее болезненной частью современности, а не делами давно минувших дней (см., например, [3, 345–360]). Поэтому автор указанной статьи говорит о значении так называемой судебной истины как части исторической истины, задача которой — определить полноту фактов о нарушении человеческих прав [Там же, 347], и подчеркивает роль комиссий по становлению истины как главного механизма правосудия переходного периода, ориентированного на потерпевших [Там же, 353].

В заключение хотелось бы отметить следующие моменты. Конечно, проработка прошлого,

предпринимаемая историками и возлагаемая на них, не является гарантией достижения консенсуса. Выработка разделяемой памяти предполагает наличие не только надлежащих нарративов, что можно отнести к компетенции профессионального сообщества, но и разработку соответствующих практик, что относится уже к деятельности граждан. Многие авторы справедливо указывают, что актуализация болезненных тем может не только объединять, но и усиливать разделение. Битвы за память и историю также могут быть лишь формой выражения более глубоких экономических

и социальных противоречий. Но, повторим еще раз, в свете представлений об изменении содержания современной памяти акценты в обсуждении могут сместиться в сторону проблемы источников ее формирования. Резонно предполагать, что стоит предпочесть материал, поставляемый профессиональным сообществом. Конечно и само историческое знание, как отмечалось, должно измениться. В этом плане тема памяти вносит свой вклад как в обогащение исторической тематики и ее источниковой базы, так и в критику официальной историографии там, где это имеет смысл.

Список литературы

1. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. М. : Новое лит. обозрение, 2016.
2. Головашина О. В. «В борьбе обретешь ты память свою»: Антоновщина в представлениях современных тамбовчан // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2020. № 70. С. 305–318.
3. Ankersmit F. R. In Praise of Subjectivity // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, Thomas R. Flynn, Rudolf A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 3–26.
4. Bakiner O. One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory // *Memory Studies*. 2015. Vol. 8, № 3. P. 345–360.
5. Bevernage B. Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History' // *Ethos of History. Time and Responsibility* / ed. by St. Helgesson, J. Svenungsson. Berghahn Books, 2018. P. 71–93.
6. Carretero M., Kriger M. Historical representations and conflicts about indigenous people as national identities // *Culture & Psychology*. 2011. № 2. P. 177–195.
7. Jamal A. Conflict Theory, Temporality, and Transformative Temporariness: Lessons from Israel and Palestine // *Constellations*. 2016. Vol. 23, № 3. P. 365–377.
8. Khoury N. Postnational memory: Narrating the Holocaust and the Nakba // *Philosophy & Social Criticism*. 2019. № 1. P. 91–110.
9. Levy D. Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures // *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society* / ed. by Y. Gutman, A. D. Brown, A. Sodaro. Palgrave Macmillan, 2010. P. 15–30.
10. Rüsen J. How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4. P. 118–129.
11. Rüsen J. Tradition: A Principle of Historical Sense-Generation and Its Logic and Effect in Historical Culture // *Ibid*. 2012. Vol. 51, № 4. P. 45–59.

References

1. Assman, A. (2016). *Novoe nedovol'stvo memorial'noi kul'turoi* [New Dissatisfaction with Memorial Culture]. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie.
2. Golovashina, O. V. (2020). "V bor'be obretesh' ty pamyat' svoyu": Antonovshchina v predstavleniyakh sovremennykh tambovchan [In the struggle you will gain your memory «: Antonovshchina in the views of modern Tambov residents]. *Dialog so vremenem*, 70, 305–318.
3. Ankersmit, F. R. (2004). In Praise of Subjectivity In D. Carr, Th. R. Flynn, R. A. Makkreel (eds.). *The Ethics of History*, 3–26. Northwestern University Press.
4. Bakiner, O. (2015). One truth among others? Truth commissions' struggle for truth and memory. *Memory Studies*, 8, 3, 345–360.
5. Bevernage, B. (2018). Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History'. In St. Helgesson, J. Svenungsson (eds.), *Ethos of History. Time and Responsibility*, 71–93. Berghahn Books.
6. Carretero, M., Kriger, M. (2011). Historical representations and conflicts about indigenous people as national identities. *Culture & Psychology*, 2, 177–195.
7. Jamal, A. (2016). Conflict Theory, Temporality, and Transformative Temporariness: Lessons from Israel and Palestine. In *Constellations*, 23, 3, 365–377.

8. Khoury, N. (2019). Postnational memory: Narrating the Holocaust and the Nakba. *Philosophy & Social Criticism*, 1, 91–110.
9. Levy, D. (2010). Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures. In Y. Gutman, A. D. Brown, A. Sodaro (eds.), *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*, 15–30. Palgrave Macmillan.
10. Rüsen, J. (2004). How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty-First Century. *History and Theory*, 43, 4, 118–129
11. Rüsen, J. (2012). Tradition: A Principle of Historical Sense-Generation and Its Logic and Effect in Historical Culture. *History and Theory*, 51, 4, 45–59.

Сведения об авторе

Сыров Василий Николаевич, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Российская Федерация

Information about the author

Vasily N. Syrov, Doct. Philos. (Eng.), Head of the Chair of ontology, Epistemology and Social Philosophy, Philosophical Faculty, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

УДК 392.3:159.953 + 316.356.2 + 929.52(470.322)

Андрей Александрович Линченко

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,
Липецк, Россия*

E-mail: linchenko1@mail.ru

**«Мы сами — время»:
динамика времени и смысл прошлого
в нарративах семейной памяти**

Часть I

На основе результатов анализа нарративных интервью трех поколений жителей г. Липецка в данной статье были осмыслены особенности репрезентации семейного времени, хронологии и периодизации, а также основные типы событий семейной истории. Способы конструирования времени и событийности были проанализированы в контексте культурных практик повседневной жизни, осознаваемых как традиции труда, быта и досуга. На основе биографического метода Фритца Шютце были выявлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов, которые были сопоставлены с «семейными сценариями», репрезентированными в нарративах липчан. Фактор возраста продолжает играть решающее значение как для особенностей динамики времени в семейной памяти, так и для хронологии и периодизации событий семейной памяти. Было выявлено, что наличие в семейной памяти мифологизированных упоминаний о высоком социальном статусе предков оказывалось важным фактором расширения темпоральных границ, а также способствовало усилению роли и значения «исторического фона» семейной хронологии во всех возрастных группах. На материалах интервью были проанализированы особенности «поколенческой периодизации», а также подтвержден вывод Г. Вельцера о явлении «кумулятивной героизации» как важного фактора структурирования семейной темпоральности.

Ключевые слова: семейная память, нарративное интервью, биографический метод, семейная темпоральность

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-011-00297.

Для цитирования: Линченко А. А. «Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти. Ч. 1 // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 53–67.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Andrej A. Linchenko

*Financial University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch,
Lipetsk, Russia*

“We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory Part I

Based on the results of the analysis of the narrative interviews of three generations of residents of the city of Lipetsk, this article comprehended the features of the representation of family time, chronology and periodization, as well as the main types of events in family history. The methods of constructing time and eventfulness were analyzed in the context of cultural practices of everyday life, perceived as traditions of work, everyday life and leisure. On the basis of the biographical method of Fritz Schütze, positive and negative curves of biographical stories were identified, which were compared with the “family scenarios” represented in the narratives of the people of Lipetsk. The factor of age continues to play a decisive role both for the characteristics of the dynamics of time in family memory and for the chronology and periodization of events in family memory. It was found out that the presence of mythologized references to the high social status of ancestors in family memory was an important factor in expanding the temporal boundaries and it also contributed to the strengthening of the role and significance of the “historical background” of family chronology in all three age groups. On the basis of the interview materials, the features of “generational periodization” were analyzed, and the conclusion of Harald Welzer about the phenomenon of “cumulative heroization” as an important factor in the structuring of family temporality was confirmed.

Key words: family memory, narrative interview, biographical method, family temporality

For citation: Linchenko, A. A. (2020). «My sami — vremya»: dinamika vremeni i smysl proshlogo v narrativakh semeinoi pamyati. Chast' I [“We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Part I]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 53–67.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Несмотря на то что семейную память вряд ли можно назвать малоисследованным феноменом, семейное прошлое продолжает оставаться в фокусе как общественного, так и научного внимания. В современной российской общественной жизни на это прямо указывает популярность акции «Бессмертный полк», которая стала не только одним из рупоров официальной политики памяти в России [7], но и явно свидетельствует о нарастании тенденции роста партикулярных версий исторической памяти [3]. Растет интерес к семейным коммеморациям и за рубежом, что связано не только с трансформацией самого института семьи и способов ее идентификации. Речь также идет о глубокой трансформации самого коммеморативного пространства, когда коллективные воспоминания оказываются в новом и быстроизменяющемся социальном

контексте. И здесь мы говорим в первую очередь о глобальных миграциях, а также о развитии интернет-коммуникаций. Глобальные миграционные процессы способствуют разрушению сложившихся социокультурных рамок семейной памяти, помещая их в трансграничное пространство и межкультурный обмен. Интернет-среда способствует изменению процесса передачи семейного опыта, поскольку делает его в большей степени публичным. В этой связи особую актуальность приобретает изучение проблем динамики семейной памяти.

Актуальность темы семейных воспоминаний связана также и с теми тенденциями, которые оказались заметны в последние годы в рамках международного направления исследований *memory studies*. В современной литературе данные тенденции получили

наименование «третьей волны *memory studies*» [11, 21, 25]. Патрик Хаттон дает нам развернутое описание специфики каждой из «волн»: «Первая волна в конце XIX в. была научной и ориентировалась на индивида. В ее центре лежала психологическая сфера. Вторая волна сформировалась к концу XX в. Она была ближе искусству памяти, но ориентировалась в основном на социальные рамки. Ее основной сферой распространения стала историография. Третья волна распространяется с начала XXI в. и ориентируется на культурные последствия медиатехнологий. В ее центре оказываются исследования коммуникаций» [25, 177]. Комментируя тезисы Патрика Хаттона, отечественный исследователь Федор Николаи дополняет: «Исследователей все чаще интересуют не отдельные точки ("места памяти"), но общая топология этого пространства, его движущие силы и динамические эффекты, определяющие растущую пролиферацию культурных практик и смену режимов соотношения жизненного опыта и медиарепрезентаций» [11, 371]. В этой ситуации семейная память как раз оказывается ярким примером трансформации исследовательской оптики, которая, как указывает Астрид Эрл, актуализирует транспоколенческую, транснациональную и медиаперспективы [22, 303]. Именно эти перспективы затрагиваются в недавних отечественных и зарубежных исследованиях семейной памяти, которые особое место уделяют медиальным функциям фотографии [23, 26, 28, 13, 15, 3], семейных музеев [10], а также транспоколенческой коммуникации [14, 20, 27].

Изучение динамики семейной памяти в транспоколенческой перспективе имеет несколько ракурсов. Речь может идти о хорошо зарекомендовавшем себя аспекте изучения трансформации ценностей и практик коммеморации [8, 14, 28]. Еще одним фокусом, позволяющим лучше понять особенности динамики семейной памяти, оказывается изучение самого ритма и специфики семейной темпоральности. Как видится, подобная темпоральность особым образом соотносится с социальными временем (большая история, история региона, история города), имеет свою хронологию и периодизацию. Речь также идет о неравномерности описания эпох семейной

истории, особенностях осмысления событийности семейной истории и осознания преемственности с семейной традицией. И здесь, с одной стороны, предельно важной оказывается именно поколенческая перспектива, а с другой — те дискурсивные практики, и в первую очередь медийная среда, которые становятся своеобразным «фоном» трансформации семейных коммемораций. Именно специфика семейной темпоральности и ее трансформация в транспоколенческой перспективе в контексте регионального медийного дискурса и стала предметом нашей статьи.

В 2018–2019 гг. в городе Липецке нами было собрано и обработано 50 интервью. Респондентам в трех возрастных группах (16–30, 30–50, 50–80 лет) предлагалось рассказать о своей семье и ее истории в форме открытого интервью. Первая возрастная группа была представлена 17 интервью (9 — мужчины, 8 — женщины); вторая возрастная группа — 20 интервью (7 — мужчины, 13 — женщины); наконец, третья возрастная группа была представлена 13 интервью (4 — мужчины, 9 — женщины). Только по завершении основной части был задан ряд уточняющих вопросов об обстоятельствах знакомства с семейной историей, о наиболее важных и значимых событиях истории семьи, семейных традициях, связанных с трудовой деятельностью, бытом и формами отдыха семьи в прошлом и настоящем. В данном исследовании нас интересовала не только репрезентация исторических событий в представлении липчан, но и культурные практики семейной памяти, воспроизводимые ими в контексте их повседневной жизни и осознаваемые как традиции труда, быта и досуга. В контексте данных практик мы и стремились рассматривать специфику семейной темпоральности и осмысление преемственности семейных коммемораций. Вместе с тем динамика семейного времени была рассмотрена нами также в контексте регионального дискурсивного пространства (медиасреда), актуализирующей определенную смысловую направленность нарративов семейной памяти. В данной статье остановимся подробнее на особенностях динамики времени в нарративах семейной памяти, хронологии и периодизации семейных историй.

Нарративное пространство семейной памяти: выбор методологии

Отечественный исследователь Л. Ю. Логунова дает следующее определение семейной памяти: «...Программа восприятия, воспроизведения, сохранения и передачи социального наследия, сложившаяся в сознании человека как репрезентант сложнейшей социальной системы родства — свойства, являющегося базовой матрицей по отношению ко всем остальным общественным отношениям. Память «окрашивает» их чувствами, мифологизирует и трансформирует, передается потомкам в виде семейных историй, легенд. В последующих поколениях это закрепляется в своеобразии ментальных характеристик общности» [9, 18]. Вместе с тем тот же автор указывает на вплетенность актов семейной коммеморации в практики повседневной жизни семьи, отмечая, что «пространство родства определяет специфику структуры семейно-родовой памяти; событийность жизненных ситуаций фиксируется семейно-родовой памятью в зависимости от социальных позиций родственной группы, инвариантности частных практик и жизненных стратегий в разных исторических и поселенческих ситуациях» [Там же, 31]. Формой актуализации данного практического опыта, в свою очередь, является нарратив, который придает семейным коммеморациям смысловое измерение, актуализируя одну часть прошлого семьи и выстраивая различные фигуры умолчания в отношении других страниц семейной памяти. В этой связи российские исследователи говорят об уместности нарративного поворота в исследованиях семейной памяти [1, 21], а также выделяют несколько этапов в исследовании нарративного измерения семейных коммемораций. Если в начале 1980-х гг. предметом изучения становились сами нарративы семейной памяти, а с начала 1990-х гг. — семейные истории, то в 2000-х гг. исследователи сместили фокус на процессы рассказывания историй [4].

Важно понимать, что сам процесс рассказывания семейных историй всегда осуществляется из перспективы одного из членов семьи, выступающего в роли рассказчика. В данном случае мы будем понимать под семейными

историями совокупность рассказов о прошлом семьи, объединенных определенным сюжетом, актуализирующим отдельные когнитивные, ценностные и практические аспекты семейной памяти. Семейная история оказывается своеобразной биографией семьи, рассказываемой из перспективы биографии ее отдельного человека. Это означает, что оборотной стороной семейной памяти является память автобиографическая. Как известно, под автобиографической памятью понимают «субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, определяющих самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе психологического субъекта» [13, 19]. В нашей литературе проблемы применения биографического метода в социологии получили обстоятельное исследование в работах В. Ф. Журавлева [5], Е. Ю. Рождественской [16], О. И. Зевелевой [6]. Важную роль в этой связи играет нарративная идентичность рассказчика. Она отражает способность к саморефлексии и занятие определенной позиции по отношению к самому себе. Е. Ю. Рождественская отмечает, что концепт «нарративной идентичности» актуализирует вопрос «о качественной идентичности — о приписываниях и предикатах, с которыми индивид себя определяет, о его характеристиках, диспозициях, групповых принадлежностях, ролях, оценках», а также вопрос «о единстве личности в смысле непрерывности и когеренции/связности (внутренней согласованности)» [16, 84]. Именно поэтому, анализируя интервью рассказчиков, мы постарались использовать методологический опыт изучения автобиографических нарративов в перспективе интерпретации семейной биографии.

Одним из наиболее известных методов исследования биографических рассказов, не потерявших актуальность в современных условиях, является методология Фритца Шютце. Он интерпретирует биографический рассказ, записываемый в процессе нарративного интервью в качестве концептуально единого [30]. Интервьюер не прерывает рассказчика, позволяя ему выстроить сюжет рассказа в свободной форме. Лишь в завершение

интервью рассказчикам предлагается ответить на ряд уточняющих вопросов («фаза нарративных вопросов»). Ключевая цель методологии Ф. Шютце состоит в соотнесении истории жизни информанта с его субъективной интерпретацией, что становится возможным посредством сопоставления процессуальных структур: интенциональных процессов (жизненные цели носителя биографии, предпринятые им действия в процессе преодоления сложных жизненных ситуаций), институциональных образцов (предписанные правила поведения со стороны семьи, образовательной системы, профессионального круга) и кривых течений (динамика идентичности в целом).

Е. Ю. Рождественская в отношении идей Ф. Шютце отмечает, что кривые течения в биографическом анализе могут иметь положительное (восходящие в прогрессии, путем установления новых социальных позиций открывают новые пространственные возможности для действий и развития личности носителя биографии) и отрицательное (нисходящие в прогрессии, они ограничивают пространство возможных действий и развития носителя биографии в ходе особого наслоения условий действий, которые не могут контролироваться самим носителем биографии) значения. По ее мысли, «идентичность биографанта не совпадает по ритму с процессуальными структурами течения жизни, поскольку поиск, придание смысла биографии становятся возможными по мере смены жизненных позиций, отодвигания в прошлое ситуаций, формирования к ним временной дистанции» [16, 114]. Соответственно в биографическом нарративе «рассказывающее Я» представляет свое прошлое, то есть «рассказанное Я», выступая в качестве «вспомненного носителя действий».

Важность биографического метода Ф. Шютце для изучения нарративов семейной памяти связана еще и с тем, что описанные им положительные и отрицательные кривые рассказов могут быть соотнесены с понятием «семейный сценарий», которое отражает направленность и функцию высказываний о семейной истории [29]. На широкий смысл понимания «семейных сценариев» как поведенческой модели указывал еще Пол Томпсон, когда говорил о них как о своеобразной форме

передачи семейной традиции, которая может быть как позитивной, так и негативной, и приводил случай из семьи Бингов, один из предков которых был расстрелян за трусость. «С тех пор во всех поколениях в семье Бингов мужчины стремились показать, что они ни в коей мере не являются трусами, — именно такой приговор был вынесен их легендарному предку» [17, 140]. Интерпретацию «семейных сценариев» в узком смысле находим в работе Д. М. Хьюзман, которая отождествляет их с моделями семейного рассказа, ведущими паттернами семейных историй. Она говорит о нескольких наиболее повторяющихся паттернах: «Мы преодолеваем трудности благодаря любви и поддержке», «Мы гордимся историей нашей семьи», «У нас есть семейные ритуалы», «У нас в семье следуют гендерным ролям», «Мы жизнестойкие», «Мы религиозны» [24].

Принято считать, что оборотной стороной темпоральности является событийность. Это означает, что динамика времени в семейной памяти разворачивается через сложное переплетение исторических событий, выступающих «внешним фоном» семейной истории, и событий, в которых члены семьи принимали самое непосредственное участие или же являлись их творцами. Анализ событийного плана личной биографии в контексте психологических позиций участника, свидетеля, современника, наследника уже предпринимался в отечественных исследованиях [12]. На наш взгляд, данные типы психологических позиций в отношении личного опыта могут быть продуктивно использованы и в контексте семейных биографий, поскольку сами исторические события с позиций современной исторической науки интерпретируются как «динамичные темпоральные конструкции». Отмечается, что «событие имеет также собственную темпоральность, плотно связанную с темпоральностью тех, кто это событие проживал. Все вместе погружено в историко-культурный контекст, имеющий свое прошлое, собственную форму настоящего и определенное видение будущего, присущее тем, кто это событие приветствует или отрицает» [18, 431]. После данных методологических пояснений обратимся к результатам нашего исследования.

Время и его динамика в нарративах семейной памяти

Анализируя семейные рассказы трех поколений жителей липчан, мы в первую очередь стремились понять, каким образом при переходе от одного поколения к другому изменяется взаимоотношение между социальным временем (семейный опыт, структурированный событиями большой истории, истории региона и города) и временем семьи (последовательность событий семейной истории).

Результаты анализа интервьюирования младшей группы респондентов (16–30 лет) показали сильное доминирование времени семьи над историческими событиями региона и страны. Только в пяти случаях из семнадцати представители липецкой молодежи отметили важное значение событий «большой истории» в жизни семьи, придавая семейной хронологии исторический масштаб. Лишь в одном случае мы зафиксировали отсутствие в рассказе какой-либо определенной направленности времени, проявляющей себя в последовательности этапов семейной истории. Основным событием, в контексте которого рассказчики сообщали о своих предках, явились события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а в двух случаях речь также шла об эпохе сталинских репрессий. Было ожидаемо, что данные рассказы хронологически совпадали по времени с молодостью бабушек и дедушек, т. е. были актуальны в пределах коммуникативной памяти (по терминологии Яна Ассмана). Любопытно, что в трех интервью рассказчики вышли за рамки XX в. и начинали рассказ с событий XIII, XVIII и XIX вв. Более того, во всех трех случаях было отмечено, что молодые люди причисляли себя к потомкам дворянских родов, внутренне организуя нарратив в качестве одного из гипертекстов. Характерно, что данный гипертекст в одном из интервью создавал изначально негативную рамку оценки советских событий, поскольку напрямую отождествлял кризис рода с действиями советской власти. Интервью одного из респондентов начинается со следующих слов: *«Корни моей семьи начинают происходить с XIII века. Именно фамилия Морозов в принципе уже идет от боярского рода, то есть знатный боярский род. Также еще параллельно уже с XVII века дворянский род*

Кириловых начинает тоже поднимать свою силу. К сожалению, оба этих рода при становлении советской власти потеряли свою власть, потеряли свое имущество» (Филипп, 20 лет, студент).

Обращение к интервью, собранным в возрастной группе от 30 до 50 лет, показало несколько иную картину. Несмотря на то что рассказчики в основном описывали события семейной истории, в восьми из двадцати интервью мы столкнулись с определенным балансом между социальным временем и временем семьи. Еще в двух случаях события семейной истории были полностью вписаны в исторические события, что позволяло говорить о доминировании социального времени над семейным. Вместе с тем выявленный баланс социального и семейного времени или доминирование первого вовсе не означал, что рассказчики в большей мере повествовали о крупномасштабных исторических событиях в ущерб семейной истории. В процессе обработки данных интервью все более явственным становилось возрастание значения исторических событий как важного и актуального фона динамики семейной хронологии и семейного времени.

Исторические события оказывались также причиной положительных и трагических страниц семейной истории, создавая полноценное ощущение нахождения в рамках истории страны, взгляд на которую рассказчики вели из перспективы семейной памяти. Показательны в этом смысле три интервью, каждое из которых может быть рассмотрено как пример положительной интерпретации семейного прошлого. В первом случае общий гипертекст интервью мы могли бы озаглавить так: *«Мы гордимся нашей семьей»*. Второе интервью в большей мере отсылает к заглавию *«Мы были как все»*, а третье мы могли бы озаглавить фразой *«Надо верить в позитивное»*.

В первом интервью рассказчик, говоря о вехах семейной истории, напрямую связывает их с историей советского времени, где даже объяснение действий персонажей семейной истории напоминает официальный исторический нарратив: *«История бабушек, дедушек уходит корнями в Воронежскую и Курскую губернии. Их детство и юность пришлось на бурные годы становления молодой Советской республики. Эх,*

таких, как они, называют ровесниками Октября. Это отразилось на всей их дальнейшей судьбе. Они выросли вместе со страной в бурно меняющемся мире. Один мой дед, Василий Иванович, по путевке ВЛКСМ пошел служить в органы государственной безопасности и практически всю жизнь посвятил борьбе с врагами молодого советского государства. Встретив Великую Отечественную войну 22 июня 1941 года начальником заставы, он прошел всю войну до Победы и также продолжил войну с националистами УПА в Западной Украине вплоть до 1952 года. С теми националистами, которые в современной Украине вознесены в настоящее время до героев. <...> Бабушка также в годы войны трудилась на благо победы и отмечена государством как труженник тыла» (Андрей, 46 лет, работник НЛМК).

Во втором интервью мы сталкиваемся с многочисленными умолчаниями, которые возникают либо в процессе упоминания негативных качеств старших родственников, либо касаются сталинских репрессий: «Отец у меня родился в двадцать седьмом году другого столетия. Мать тоже в двадцать седьмом году другого столетия. Отец — уроженец Липецкой области, село Трубетчино. Мать — уроженка Саратовской области. По национальности отец у меня русский. Мать по национальности — немка. Естественно, бабушки, дедушки с той стороны тоже были немцы. У отца родители были русскими. Дед мой был директором Трубетченского сахарного завода, как при капиталистах, так и при коммунистах. Дед — многоженец. Мой отец — от третьего брака. В девяносто шесть лет он пошел за грибами и не вернулся. Со стороны матери история очень сложная. В сорок втором году — репрессии. Пятьдесят восьмая статья. Красноярский край. Поселок Туруханск» (Валерий, 44 года, отставной летчик). Далее рассказ обрывается и рассказчик резко меняет тему.

В третьем случае рассказчица, отмечая в самом начале повествования свою готовность «рассказать уже историю своей семьи, а не только историю своих родителей или бабушек, или дедушек», практически весь свой рассказ посвящает собственной биографии, трудности которой напрямую связываются с распадом СССР, реалиями жизни в постсоветском Узбекистане и необходимостью переезда в Россию.

Ключевой гипертекст ее рассказа составляет развертывание смысловой линии «Я – советский человек». Это особенно проявилось в нескольких отсылках к негативной оценке событий распада СССР и потребности в «единой стране» (Инна, 50 лет, продавец в столовой). В этой связи как персональный, так и семейный опыт встраиваются ею в рамку хронологии макрополитических событий советского и постсоветского времени. Как и в случае молодежи, в данной возрастной группе было выявлено доминирование событий Великой Отечественной войны в качестве наиболее упоминаемых в ситуациях повседневной жизни рассказов.

При обращении к интервью старшей возрастной группы (50 лет и старше) нами также был выявлен баланс социального времени и времени семьи. Как и в возрастной группе 30–50 лет, рассказчики вписывали семейные события в исторический контекст, показывая вехи семейной истории на фоне событий истории страны. Однако их существенным отличием является большая степень персонализации времени. Другими словами, время семьи, отраженное в биографиях их многочисленных родственников и друзей, подробно описывается в контексте событий истории России XX в. В двух биографиях мы столкнулись с тем, что недостаток информации о событиях семейной истории сознательно компенсировался респондентами из источников культурной памяти. В первом случае речь шла о биографии дедушки рассказчика, воевавшего с белогвардейцами в Забайкалье в годы Гражданской войны. Характерно, что, рассказывая историю семьи, респондент практически полностью пересказывает главу книги, изданной в советское время, посвященную биографии его отца (Иван, 81 год, пенсионер). В другом случае респондент, рассказывая об истории репрессированного отца, сообщает о недостатке информации и использует образы известного фильма Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего» (Александр, 61 год, охранник). Примечательно, что только в одном из тринадцати интервью в этой возрастной группе мы не обнаружили стремления к взаимосвязи истории семьи и исторической эпохи.

Доминирующим событием «исторического фона» во всех трех возрастных группах явилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Только в семи интервью из тринадцати в возрастной группе старше 50 лет были обнаружены упоминания о послевоенном времени и событиях распада СССР. Характерно, что всего в шести интервью из двадцати в возрастной группе 30–50 лет мы смогли обнаружить упоминания о послевоенном советском времени и только в трех случаях — отсылки к событиям распада СССР.

Вторым по значимости элементом присутствия «исторического фона» в семейной памяти явились даты рождения рассказчиков и их старших родственников. При этом стремление называть дату рождения старших родственников в большей мере было характерно для средней и старшей возрастных групп. Данный факт для нас важен, поскольку в интервью молодых липчан мы обнаружили всего четыре упоминания о датах рождения старших родственников, в то время как в возрастной группе старше 50 лет только в одном интервью респондент не стал называть каких-либо дат. Сходная ситуация наблюдалась и в контексте упоминаний об именах старших родственников и о представителях семейной истории. Как и в случае с датами, только в трех интервью молодежной группы мы обнаружили упоминания об именах старших родственников и предков. В то же время в возрастной группе 30–50 лет лишь в четырех интервью мы не обнаружили упоминаний имен, а в возрастной группе старше 50 лет только в одном уже упоминавшемся интервью с нисходящей кривой рассказа мы не встретили ни одного имени.

Вехи семейной памяти: хронология и периодизация

Специфика семейной темпоральности также может быть проанализирована в контексте той начальной точки семейной хронологии, которая возникает во время повествования. С одной стороны, такая начальная точка свидетельствует о глубине знаний о семейном прошлом, а с другой стороны, она внутренне организует саму периодизацию этапов семейной истории.

Обращаясь к выводам по молодежной группе наших респондентов, можно уверенно утверждать, что большинство респондентов

таковой точкой избрали рождение своих родителей и только в пяти случаях — рождение бабушек и дедушек. Их рассказы, по мнению молодых липчан, явились наиболее важными источниками знаний о семейной истории, что было зафиксировано в абсолютном большинстве интервью. Данный факт был ожидаем и вполне объясняется влиянием коммуникативной памяти. Лишь в трех интервью нами был обнаружен выход рассказчиков за пределы XX в., что связывалось с «дворянскими корнями» и «видным происхождением рода».

Сходная ситуация в этой связи была выявлена в процессе обработки и анализа интервью возрастной группы 30–50 лет. Говоря о событиях рождения бабушек и дедушек, респонденты в данной возрастной группе обращались к событиям начала XX — конца XIX в. В данном случае речь шла о старшем поколении, что соответственно отодвигало границы хронологической начальной точки рассказа. Показательно, что только в трех случаях мы встретили упоминания, выходящие за границы XX в. В двух из них речь шла просто о датах рождения прабабушек и прадедушек, относящихся к XIX столетию. Любопытен третий случай, когда рассказчица упоминает о своей принадлежности к древнему купеческому роду. Характерно, что именно высокое купеческое положение запускает основной гипертекст рассказа об истории данной семьи: *«Историю своей семьи я хочу начать рассказывать, наверное, со своей прабабушки. Ее род начинается с древнего купеческого рода Харькиных. Жили они в Усманском районе, деревня Пластинки. Раньше там были очень большие сады, которые принадлежали их семье. Моя бабушка очень гордилась тем, что она тоже имеет причастность к этому роду. Во время войны бабушкину бабушку, получается, раскулачили за счет того, что требовались большие налоги. Сады вырубил, статуса дворянства лишили. Но они все равно не забывали об этом»* (Марина, 35 лет, парикмахер).

Говоря о начальной точке семейной хронологии в возрастной группе 50 лет и старше, необходимо указать на увеличение самой глубины исторических воспоминаний. В силу возрастных особенностей представители старшей возрастной группы посвящали значительную часть рассказа своим ушедшим старшим

родственникам, друзьям и современникам, что способствовало расширению именно исторического контекста событий, охвату всех основных этапов истории страны на протяжении XX в. Тем не менее, несмотря на возрастание глубины исторических воспоминаний, анализ интервью показывает тождество рассказов данной группы с младшими возрастными группами. Это тождество связывает начало повествования со временем жизни бабушек и дедушек рассказчиков, подтверждая мысль Я. Ассмана о недолговечности коммуникативной памяти. Сходной оказалась и тенденция к выстраиванию основного гипертекста интервью вокруг семейного мифа о «родовитом происхождении». Так, один из респондентов начинает свой рассказ с описания, где, используя девичью фамилию матери, неожиданно соскальзывает к описанию истории промышленников Демидовых как важной части собственной семейной истории: *«Родился я в семье рабочей, крестьянской. Мать у меня из деревни. В Орловской области родилась. Когда ей исполнилось двадцать лет, она уехала в Липецк. Там у них ходит легенда. Фамилия мамы девичья — Демидова. А легенда ходит, еще в петровские времена, когда был царь Петр I, были такие купцы Демидовы. Они поехали на Урал. Урал — это где Уральские горы. И нашли там железные руды и построили много заводов. Они стали богатыми. Стали выплавлять и чугун, и сталь, и медь. Продавали государству и разбогатели. Недаром есть такое название: “демидовские заводы”. И вот ходит легенда, что мамин род — Демидовых. Да. Она приехала в Липецк, вышла замуж, и фамилия другая стала»* (Владимир, 53 года, рабочий).

Изучение особенностей семейной темпоральности не может обойти стороной вопрос о периодизации семейной истории в разных возрастных группах. Доминирующей тенденцией в данном случае явилось стремление к своеобразной «поколенческой периодизации», когда основные этапы семейного рассказа структурировались в соответствии со сменой поколений. Только в пяти интервью молодых людей нами были выявлены попытки соотнесения семейной динамики с ключевыми событиями отечественной истории прошлого столетия и только в трех уже упоминаемых случаях — с историческими событиями предшествующих

веков. Совершенно не удивителен тот факт, что большинство рассказчиков из числа молодежи являли попытки периодизации семейной истории в интервале конца 1980–2000-х гг. Применительно к их интервью вопрос состоял только в том, какая секвенция находилась на первом месте — пассажи текста о родителях или рассказы о своих детских воспоминаниях.

Характерно, что уже следующая возрастная группа в большей мере стремится к периодизации семейной истории в контексте основных этапов истории страны. Так, в группе 30–50 лет более половины интервью не только описывали смену поколений, но и связывали эти поколения с важнейшими историческими событиями в истории страны. Данная ситуация была для нас волне ожидаемой и уже фиксировалась исследователями [14]. Ключевой причиной в данном случае выступает собственный персональный опыт респондентов, ставших свидетелями и участниками исторических событий последних десятилетий в нашей стране. Не менее любопытно, что в трех интервью опыт советской истории не только соотносился с периодизацией биографии семьи, но и рассматривался как предмет ностальгии. Это позволяло увидеть в нарративах очень явный смысловой водораздел между временем до 1991 г. и после. В двух интервью это нашло отчетливое выражение в стремлении рассматривать советское время как *«тогда было строго»* (Светлана, 45 лет, уборщица), как время, когда *«была единая страна»* (Инна, 50 лет, продавец в столовой). Однако наиболее интересно третье интервью, где ностальгия по советскому времени связывается не только с эпохой, но и непосредственно с образом бабушки, а также характеризуется как время, когда *«семья были большими»* (Ирина, 50 лет, администратор). В данном случае мы столкнулись с интервью с нисходящей кривой, основной гипертекст которого мог бы быть обозначен слоганом «Мельчает семья». Анализ интервью Ирины показал, что интерпретационные усилия («теория информанта»), предпринимаемые Ириной по представлению семейной истории, лишь в относительной степени совпадают с реальными процессами биографии семьи. Интенциональные процессы, реализуемые семьей как субъектом жизненных изменений, не позволяют преодолевать

институциональные ограничения, которые напрямую связываются с крахом Советского Союза. Биография семьи в интерпретации рассказчицы предстает как нисходящий процесс, важнейшим маркером которого оказывается «измельчание семьи» — снижение количества детей и опасения рассказчицы за ее будущее. Характерно, что последнюю секвенцию своего рассказа Ирина посвящает теме ее семьи в современном мире. В отличие от других секвенций, разворачивающих рассказы о родителях, бабушке, дальних родственниках, последняя секвенция является не только самой большой, но и превосходит все остальные по числу описаний и аргументаций. Не менее любопытно, что, перед тем как рассказчица обозначает коду своего повествования, она преподносит нам сразу несколько аргументаций, отражающих один из гипертекстов, посвященных ее опасениям за будущее семьи в контексте ностальгии по советскому времени.

Тенденция к усилению роли исторического фона при описании событий семейной истории в еще больше мере проявилась в процессе обращения к интервью самой старшей возрастной группы (50 лет и старше), где только в одном интервью из тринадцати мы не обнаружили упоминаний, связанных с какими-либо конкретными историческими событиями. Центральное значение в рассказах липчан данной возрастной группы также занимает «поколенческая хронология», которая, однако, в силу богатого жизненного опыта рассказчиков, в буквальном смысле обрастает историческими событиями и вплетается в вехи истории России конца XIX — первой половины XX в. Вполне ожидаемым было и то, что их рассказы рисовали картину многочисленных родственников, создавая наполненное историческими событиями описание жизни большой семьи в нескольких поколениях. Показательным является следующий эпизод рассказа: *«Мама рассказывала мне всю историю нашего рода. В общем, она родилась от Игнатовых еще, по материнской линии, и Лысенкова, по отцовской линии. В общем, их было семь человек детей у мамы, было пять братьев и две сестры. А вот дедушка ее Николай Васильевич — это ее прадед. У прадеда было два сына, Ефан и Иван. Вот у Ивана, у которого мама родилась, было семь человек, а у Ефана был только один. Ефана*

забрали в Первую мировую, и он там погиб. От него остался сын Петр, который участвовал в Первой мировой войне и погиб там. Был командир какого-то, в общем, не знаю, но командный состав был. Погиб. От него пошел род Лысенковых, а от мамы, она вышла потом за Ивана, родились пятеро братьев. Очень красивые люди были, просто красивые. И Иван еще, который родился в 1903 году, был призван в царскую армию и был гренадером, как мама рассказывала, при царе. Но потом, со временем, в революцию попал. Вторым и третьим братья, в общем, Владимир, Емельян, Федор; Владимир и Емельян после войны возвратились, прошли до Берлина. Емельян был весь изранен, приехал в Липецк, окончил институт и работал заместителем главного бухгалтера Липецкой магнитки. А Владимир остался в деревне, родил семерых детей и так и погряз в семье, будем говорить, но много рассказывал о войне, дожил до 86 лет. Они все — долгожители» (Валентина, 79 лет, пенсионер).

Особенности периодизации событий прошлого в семейном нарративе, как и в других типах коллективной памяти, связаны также и с неравномерностью распределения времени в процессе описания событий. В ситуации биографических интервью это особенно заметно в связи с увеличивающимся количеством описаний, которые начинают доминировать над рассказом. В данном случае описание — это своеобразная остановка рассказа, фокусировка на каком-либо ярком эпизоде или нескольких эпизодах. Они же, как правило, рассматривались респондентами в качестве значимых событий прошлого. Неравномерность распределения воспоминаний в пределах автобиографической памяти уже получило обстоятельное изучение. В частности, В. В. Нуркова, сопоставляя особенности включения исторических событий в линии жизни нескольких поколений респондентов, отмечает, что «включение исторической информации в автобиографическую память обусловлено не только объективной исторической значимостью событий и интенсивностью их воздействия на индивидуальный жизненный путь, но и некоторыми дополнительными факторами. К числу этих факторов относится совпадение исторически напряженного периода в жизни общества и особого временного интервала

в становлении автобиографической памяти, получившего в литературе название «пика воспоминаний» [12, 21]. С одной стороны, она исходит из посылки о том, что «нельзя утверждать, что память пожилых людей более исторична просто за счет того, что они жили дольше», а с другой стороны, ее исследование «пика воспоминаний» в разных возрастных группах показало, что события приобретают статус переломных только тогда, когда оказываются внутри особого возрастного периода, связанного с «пиком воспоминаний» и накоплением автобиографической информации. Вместе с тем оригинальная схема В. В. Нурковой, содержащая четыре психологические позиции по отношению к событию (участник, очевидец, современник, наследник), лишь в некоторой степени могла бы оказаться полезной в случае семейной памяти, когда большая часть информации оказывается связанной с трансляцией семейных нарративов старших родственников.

Сопоставляя рассказы представителей молодежной группы, нами были выявлены три наиболее повторяющихся вида эпизодов, представляющих собой описания и выделявшихся из рассказов. Первый вид был связан с собственными детскими воспоминаниями респондентов. Второй вид связывался с описаниями различных семейных традиций быта или досуга. Третий вид респонденты связывали с фигурой одного из старших членов семьи (отец, мать, бабушка, дедушка), личность и качества которого приобретали в большинстве рассказов черты мифологического героя, без действий которого жизнь семьи и рода не представлялась респондентам возможной. В данном случае в полной мере уместно говорить о феномене «кумулятивной героизации» (*die kumulative Heroisierung*), описанной в книге Гаральда Вельцера и посвященной восприятию старших родственников, живших во времена национал-социализма в Германии, поколением их детей и внуков. Немецкий ученый и его коллеги смогли показать, что воспоминания детей и в особенности внуков оказываются «более положительными», воспроизводя «субъективную потребность отвести дедушке или бабушке роль “хорошего” немца во времена нацистов» [28, 247].

В нашем случае героизация старших родственников, являясь похожей по форме,

оказывалась иной по содержанию. Так, одна из рассказчиц, характеризуя трудовые качества отца, резюмирует свое рассуждение следующей аргументацией: *«Не знаю, что бы мы без него делали. Я таких людей в своей жизни не встречала»* (Юлия, 18 лет, студентка). Другая рассказчица, переживая ранний уход отца из жизни, вообще делает его биографию в семейной истории своеобразной кульминацией семейной динамики. Сообщение о его смерти запускает ее собственный гипертекст жизненной истории, где, повествуя о своих успехах в школе, на олимпиадах и общественной активности, она ориентируется на высокие оценки ушедшего отца и стремится *«реализовать себя в жизни, достичь определенных высот, чтобы у моей семьи все было хорошо»* (Милена, 17 лет, школьница). В третьем случае основной гипертекст рассказа вообще позиционирует молодого человека в качестве синтеза удачной комбинации качеств его родителей, которые практически во всех эпизодах рассказа представлены как единое целое. Характерно, что рассказ завершается серией аргументаций, посвященных родителям и отношению к ним, крайняя из которых в большей мере напоминает официальное заявление: *«Я очень люблю своих родителей и советую всем, кто это увидит, услышит, прочтает, не знаю, в каком формате это будет, просто подойти к своим родителям, у кого у них все в порядке и у кого они все живы. Обнять их хорошенько и провести с ними как можно больше времени, хотя бы один день. Ну и по возможности вообще как можно чаще с ними видеться. У меня все»* (Сергей, 25 лет, педагог).

Несколько иной видится неравномерность распределения времени в рассказах следующей возрастной группы. В данном случае эпизоды остаются. Однако меняется их иерархия. В возрастной группе условных «родителей» (30–50 лет) наибольшее количество описаний находим в эпизодах о старших родственниках. Это по-прежнему отцы и матери, бабушки и дедушки, нравственные качества, военные подвиги и социальные роли которых наделяются мифологическим значением и героизируются в словах рассказчиков. Важным моментом, обращающим на себя внимание в этой возрастной группе, оказывается рост числа лиц, свидетельствующих о наличии

семейных архивов, генеалогических поисках, важных семейных реликвиях. И только потом мы обнаруживаем вторые по значимости описания семейных традиций и ритуалов, наиболее запомнившихся практик быта и досуга. Еще менее значительным является присутствие в рассказах описаний собственного детства.

В сравнении с молодежными интервью, где данные воспоминания доминировали, представители возрастной группы 30–50 лет в основном обращались к детским воспоминаниям либо в контексте рассказов о старших родственниках, либо в контексте описаний своих детей. Это позволяет нам говорить о том, что с возрастом человека объем его семейных воспоминаний начинает доминировать по отношению к собственному автобиографическому опыту при условии, что конструирование смысла прошлого остается именно за автобиографической памятью. В этой связи, сопоставляя зарубежный и отечественный опыт психологии памяти, В. В. Нуркова отмечает: «Основная функция автобиографической памяти, по К. Нельсон, — функция социальной солидарности. Автобиографические воспоминания существуют для того, чтобы разделять их с другими людьми (сначала с близкими взрослыми, а позднее и со всем человечеством). Эта точка зрения соответствует концепции Л. С. Выготского: через присвоение первоначально внешнего и разделенного со взрослым опытом воспоминания и рассказывания историй о своем прошлом создается конкретная социальная ситуация развития ребенка, которая позже охватывает широкий исторический и культурный контекст» [13, 244].

В возрастной группе 50 лет и старше мы обнаружили тенденцию, сходную с предшествовавшей возрастной группой 30–50 лет. Неравномерность распределения времени рассказа здесь также была связана в первую очередь со старшими родственниками семьи, образы которых оказывались частью трагических событий истории России первой половины XX в. Описывая бабушек и дедушек, а также родителей, абсолютное большинство наших рассказчиков (10 из 13 интервью) вводили в рассказы сведения о тяготах коллективизации, трагедиях раскулачивания, репрессий, эпизодах военного времени и трудностях послевоенного времени. Это в еще большей

степени способствовало героизации родственников, что отражалось в увеличении доли аргументаций в процессе рассказов о них. Вторым по значимости эпизодом воспоминаний для рассказчиков в возрастной группе 50 лет и старше оказывались рассказы о собственном детстве, опыте семейной жизни, детях и внуках. И только третьими по значимости были эпизоды, посвященные традициям быта и досуга, а также эмоционально насыщенным описаниям малой родины респондентов.

Подводя итоги первой части статьи, следует отметить, что проблемы динамики семейной памяти и трансформации ее образов продолжают оставаться значимым предметом *memory studies*. Это представляется особенно актуальным в свете «третьей волны» *memory studies*, актуализирующей изучение динамических эффектов общественных коммемораций, определяющих растущую пролиферацию культурных практик и смену режимов соотношения жизненного опыта и медиарепрезентаций. Самостоятельной проблемой при этом оказывается изучение самого ритма и специфики семейной темпоральности, а также ее взаимосвязи с дискурсивными практиками региональной медийной среды.

Представленная вниманию читателя статья является первой частью исследования и посвящена вопросам динамики времени в нарративах семейной памяти, особенностям хронологизации и периодизации событий семейной памяти трех поколений жителей г. Липецка. Фактор возраста имеет решающее значение как для особенностей динамики времени в семейной памяти, так и для хронологии и периодизации семейных событий. Было выявлено, что если в интервью представителей молодежной среды семейное время доминирует над социальным временем, то в старших возрастных группах нами был зафиксирован баланс времени социального и семейного. Это не означало, что рассказчики в большей мере повествовали о крупномасштабных исторических событиях в ущерб событиям семейной памяти. Исторические события оказывались важным и актуальным фоном разворачивания семейной хронологии и семейного времени. Существенным отличием проанализированных интервью в возрастной группе старше 50 лет также явилась большая степень персонализации времени

и стремление использовать стереотипные образы и культурной памяти для усиления не только оценочной, но и когнитивной составляющей рассказов. Доминирующим событием «исторического фона» во всех трех возрастных группах явилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Вторым по значимости элементом присутствия «исторического фона» в семейной памяти явились даты рождения рассказчиков и их старших родственников. При этом стремление называть дату рождения старших родственников в большей мере было характерно для средней и старшей возрастных групп.

Было выявлено, что наличие в семейной истории мифологизированных упоминаний о высоком социальном статусе предков оказывалось важным фактором расширения темпоральных границ семейной памяти, а также способствовало усилению роли и значения «исторического фона» семейной хронологии во всех трех возрастных группах. Также для всех трех возрастных групп общим было стремление

к «поколенческой периодизации». Разница между возрастными группами состояла только в усилении роли и значения «исторического фона», «большой истории» для описания событий динамики поколений семьи в интервью средней и старшей возрастных групп. В ходе исследования был подтвержден вывод Г. Вельцера о явлении «кумулятивной героизации» как важного фактора структурирования семейной темпоральности. В нашем случае элементы «кумулятивной героизации» были выявлены во всех возрастных группах, являясь результатом стихийной мифологизации одного или нескольких старших членов семьи. Это нашло отражение в неравномерности распределения времени рассказов. Неравномерность распределения времени в нарративах семейной памяти во всех трех поколениях липчан также оказалась связанной с эпизодами собственного детства, эпизодами, посвященными семейным традициям быта и досуга. Различие между возрастными группами состояло только в иерархии данных эпизодов.

Список литературы

1. Беспалова Ю. Нарративный поворот в социологии и проблема сохранения семейно-родовой памяти // Телескоп. 2015. № 3 (111). С. 21–24.
2. Васильева Е. В., Стрельникова А. В. Биографическая память городских семей: опыт анализа фотоальбомов // Вестн. РГГУ. Сер.: Философия. Социология. Искусствоведение. 2012. № 2 (82). С. 288–304.
3. Головашина О. В., Линченко А. А., Аникин Д. А. Память о Великой Отечественной войне: День Победы в историческом сознании россиян // Социол. исслед. 2017. № 3 (395). С. 123–133.
4. Городилина М. В. Диалог с историей своей семьи: зарубежный опыт исследования // Педагогика и психология образования. 2017. № 2. С. 110–119.
5. Журавлев В. Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология : 4 М). 1993–1994. № 3–4. С. 37.
6. Зевелева О. И. Биографический метод и дискурс-анализ: перспективы сочетания // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2014. № 39. С. 7–39.
7. Историческая память — еще одно пространство, где решаются политические задачи / Ю. М. Васильев, Ф. А. Гайда, Д. В. Ефременко, А. В. Ломанов, А. И. Миллер, А. А. Тесля, А. Ф. Филиппов, Е. Э. Прокопчук // Россия в глобальной политике. 2020. Т. 18, № 1 (101). С. 59–80.
8. Логунова Л. Ю. Семейно-родовая память: временные ипостаси и социальные ресурсы // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 379. С. 69–75.
9. Логунова Л. Ю. Социально-философский анализ семейно-родовой памяти как программы социального наследования : дис. ... д-ра филос. наук. 09.00.11 — социальная философия. Кемерово, 2011.
10. Морозов И. А., Слепцова И. С. «Ключ от дома бабушки»: предметные и визуальные нарративы в пространстве семейной памяти // Сиб. ист. исслед. 2020. № 2. С. 276–297.
11. Николаи Ф. В. «Третья волна» memory studies: культурная память между опытом и репрезентацией // Диалог со временем. 2018. № 63. С. 369–374.
12. Нуркова В. В. История как личный опыт // Историческая психология и социология истории. 2009. № 1. С. 5–27.
13. Нуркова В. В. Сверхценное продолжается: психология автобиографической памяти личности. М. : Изд-во УрАО, 2000.
14. Омельченко Е. Л., Андреева Ю. В. Что остается в семейной памяти: память о советском сквозь разговор трех поколений // Социол. исслед. 2017. № 11. С. 147–156.
15. Печурина А. В. Увидеть необычное в обычном: исследования семейной фотографии // Социол. журн. 2010. № 2. С. 92–97.

16. Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М. : Издат. дом ВШЭ, 2012.
17. Томпсон П. Семейный миф, модели поведения и судьба человека // Хрестоматия по устной истории / общ. ред. В. М. Лоскутовой. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 110–146.
18. Чеканцева З. А. Событие историческое // Теория и методология исторической науки : терминолог. слов. М. : АКВИЛОН, 2016. С. 430–432.
19. Чуйкина С. Биографическое интервью и социология памяти // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 291–308.
20. Attias-Donfut C., Wolff F.-C. Generational memory and family relationships // *The Cambridge Handbook of Age and Ageing*. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2005. P. 443–454.
21. Entangled memory: Toward a third wave in memory studies / G. Feindt, D. Mehler, F. Pestel, F. Krawatzek, R. Trimčev // *History and Theory*. 2014. № 53 (Febr.). P. 24–44.
22. Erll A. Locating family in cultural memory studies // *Journal of Comparative Family Studies*. 2011. Vol. 42, № 3. P. 303–318.
23. Hirsch M. Family frames: Photography, narrative, and postmemory. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1997.
24. Huisman D. M. Telling a family: family storytelling, family identity, and cultural membership : thesis. ... doct. of philosophy. The University of Iowa, USA, 2008.
25. Hutton P. H. The Memory Phenomenon in Contemporary Historical Writing. N. Y. : Palgrave Macmillan, 2016.
26. Keppler A. Tischgespräche: Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung in Familien. Frankfurt a/Main : Suhrkamp, 1994.
27. Kölbl C., Schrack A. Geschichtsbewusstsein intergenerational // *Journal für Psychologie*. 2013. Jg. 21. Ausgabe 2. S. 1–28.
28. «Opa war kein Nazi»: Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis / H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall (Hrs.). Frankfurt a/Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002.
29. Schütze F. Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens // *Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven* / M. Kohli, G. Robert (eds.). Stuttgart : Metzler, 1984. S. 78–117.
30. Schütze F. Biographieforschung und narrative Interview // *Neue Praxis*. 1983. H. 3. S. 283–293.

References

1. Bepalova, Y. (2015). Narrativnyj povorot v sociologii i problema sohraneniya semejno-rodovoj pamyati [Narrative turn in sociology and the problem of preserving family-ancestral memory]. *Teleskop*, 3 (111), 21–24.
2. Vasil'eva, E. V., Strel'nikova, A. V. (2012). Biograficheskaya pamyat' gorodskih semej: opyt analiza fotoal'bomov [Biographical memory of urban families: the experience of analyzing photo albums]. *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie*, 2 (82), 288–304.
3. Golovashina, O. V., Linchenko, A. A., Anikin, D. A. (2017). Pamyat' o Velikoj Otechestvennoj vojne: Den' Pobedy v istoricheskom soznanii rossiyan [Memory of the Great Patriotic War: Victory Day in the historical consciousness of Russians]. *Sociologicheskie issledovaniya*, 3 (395), 123–133.
4. Gorodilina, M. V. (2017). Dialog s istoriej svoej sem'i: zarubezhnyj opyt issledovaniya [Dialogue with your family history: foreign research experience]. *Pedagogika i psihologiya obrazovaniya*, 2, 110–119.
5. Zhuravlev, V. F. (1994). Narrativnoe interv'yu v biograficheskikh issledovaniyah [Narrative interviews in biographical research]. *Sociologiya: 4 M*, 3–4, 34–43.
6. Zeveleva, O. I. (2014). Biograficheskij metod i diskurs-analiz: perspektivy sochetaniya [Biographical Method and Discourse Analysis: Prospects for Combination]. *Sociologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie*, 39, 7–39.
7. Vasil'ev, Y. M., Gajda, F. A., Efremenko, D. V., Lomanov, A. V., Miller, A. I., Teslya, A. A., Filippov, A. F., Prokopchuk, E. E. (2020). Istoricheskaya pamyat' — eshche odno prostranstvo, gde reshayutsya politicheskie zadachi [Historical memory is another space where political problems are solved]. *Rossiya v global'noj politike*, 18, 1 (101), 59–80.
8. Logunova, L. Y. (2014). Semejno-rodovaya pamyat': vremennye ipostasi i social'nye resursy [Family and tribal memory: temporary hypostases and social resources]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 379, 69–75.
9. Logunova, L. Y. (2011). *Social'no-filosofskij analiz semejno-rodovoj pamyati kak programmy social'nogo nasledovaniya* [Socio-philosophical analysis of family-tribal memory as a program of social inheritance] (doctoral dissertation). 09.00.11 — social'naya filosofiya. Kemerovo.
10. Morozov, I. A., Slepцова, I. S. (2020). «Klyuch ot doma dedushki»: predmetnye i vizual'nye narrativy v prostranstve semejnoy pamyati [«The key to grandfather's house»: subject and visual narratives in the space of family memory]. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya*, 2, 276–297.
11. Nikolai, F. V. (2018). «Tret'ya volna» memory studies: kul'turnaya pamyat' mezhdru opytom i reprezentacij [«The third wave» of the memory studies: cultural memory between experience and representation]. *Dialog so vremenem*, 63, 369–374.
12. Nurkova, V. V. (2009). Istoriya kak lichnyj opyt [History as a personal experience]. *Istoricheskaya psihologiya i sociologiya istorii*, 1, 5–27.
13. Nurkova, V. V. (2000). *Svershyonnoe prodolzhaetsya: psihologiya avtobiograficheskoy pamyati lichnosti* [The accomplished continues: the psychology of the autobiographical memory of the personality]. M.: Izd-vo URAO.
14. Omelchenko, E. L., Andreeva, Y. V. (2017). Chto ostaetsya v semejnoy pamyati: pamyat' o sovetskom skvoz' razgovor trekh pokolenij [What remains in family memory: memory of the Soviet through the conversation of three generations]. *Sociologicheskie issledovaniya*, 11, 147–156.
15. Pechurina, A. V. (2010). Uvidet' neobychnoe v obychnom: issledovaniya semejnoy fotografii [Seeing the Uncommon in the Ordinary: Family Photography Research]. *Sociologicheskij zhurnal*, 2, 92–97.

16. Rozhdestvenskaya, E. Y. (2012). *Biograficheskiy metod v sociologii* [Biographical method in sociology]. М.: Izdatel'skiy dom VSHE.
17. Tompson, P. (2003). Semejnij mif, modeli povedeniya i sud'ba cheloveka [Family myth, behavior patterns and human destiny]. In V.M. Loskutovoj (ed.). *Hrestomatiya po ustnoj istorii*, 110–146. SPb.: Izd-vo Evrop. Un-ta v S.-Peterburge.
18. Chekanceva, Z. A. (2016). Sobytie istoricheskoe [Sobytie istoricheskoe]. In *Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki. Terminologicheskij slovar'*, 430–432. М.: AKVILON.
19. Chujkina, S. (2004). Biograficheskoe interv'yuu i sociologiya pamyati [Biographical interview and the sociology of memory]. *Ab Imperio*, 1, 291–308.
20. Attias-Donfut, C., Wolff, F.-C. (2005). Generational memory and family relationships. In *The Cambridge Handbook of Age and Ageing*, 443–454. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
21. Feindt, G., Mehler, D., Pestel, F., Krawatzek, F., Trimçev, R. (2014). Entangled memory: Toward a third wave in memory studies. *History and Theory*, 53 (Febr.), 24–44.
22. Erll, A. (2011). Locating family in cultural memory studies. *Journal of Comparative Family Studies*, 42, 3, 303–318.
23. Hirsch, M. (1997) *Family frames: Photography, narrative, and postmemory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
24. Huisman, D. M. (2008). *Telling a family: family storytelling, family identity, and cultural membership* (doctoral dissertation). The University of Iowa, USA.
25. Hutton, P. H. (2016). *The Memory Phenomenon in Contemporary Historical Writing*. N. Y.: Palgrave Macmillan.
26. Keppeler, A. (1994). *Tischgespräche: Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung in Familien*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
27. Kölbl, C., Schrack, A. (2013). Geschichtsbewusstsein intergenerational. *Journal für Psychologie*, Jg. 21. Ausgabe 2. S. 1–28.
28. “Opa war kein Nazi”. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis (2002) (H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall, Hrs.), Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
29. Schütze, F. (1984). Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In M. Kohli, G. Robert (eds.), *Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven*, 78–117. Stuttgart: Metzler.
30. Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narrative Interview. *Neue Praxis*, 3, 283–293.

Сведения об авторе

Линченко Андрей Александрович, кандидат философских наук, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк, Российская Федерация

Information about the author

Andrey A. Linchenko, Cand. Philos. (Eng.), Research Associate Financial University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch, Lipetsk, Russian Federation

УДК 398.22 + 159.94 + 316.422 + 94(470)“1941/1945”

Александр Викторович Овчинников

Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru

Образы «Великой Победы»: реципрокно-редистрибутивные аспекты категорий вины и ответственности

Анализируются возможности изучения связанных с Великой Отечественной войной образов вины и ответственности с помощью методологического инструментария социально-политической антропологии и теории модернизации. Предлагается научное определение термина «Великая Победа», констатируется его мифический и квазирелигиозный характер. Указывается на распространенность мифологемы «Великая Победа» среди населения со значительными пластами архаического мировоззрения и ее инструментальное использование в политико-идеологических целях. Приводятся примеры конструирования образов вины и ответственности в дискурсе характерных для моральной экономики реципрокно-редистрибутивных отношений. Делается прогноз о постепенной рационализации представлений об исторической вине и ответственности, связанной с модернизацией мировоззрения.

Ключевые слова: вина, ответственность, миф, идеология, Великая Отечественная война, реципрокно-редистрибутивные отношения

Благодарности: Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00421.

Для цитирования: Овчинников А. В. Образы «Великой Победы»: реципрокно-редистрибутивные аспекты категорий вины и ответственности // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 68–75.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Aleksandr V. Ovchinnikov

Tomsk State University, Tomsk, Russia

Images of the “Great Victory”: Reciprocal-redistributive Aspects of Categories of Guilt and Responsibility

The author analyzes the possibilities of studying images of guilt and responsibility related to the Great Patriotic war using the methodological tools of socio-political anthropology and modernization theory. A scientific definition of the term “Great Victory” is proposed, and its mythical and quasi-religious character is stated. The author indicates the prevalence of the “Great Victory” mythologeme among the population with significant layers of archaic worldview and its instrumental use for political and ideological purposes. Examples of constructing images of guilt

© Овчинников А. В., 2020

and responsibility in the discourse of reciprocal-redistributive relations characteristic of the moral economy are given. The author made a forecast about the gradual rationalization of ideas about historical guilt and responsibility associated with the modernization of the worldview.

Key words: guilt, responsibility, myth, ideology, Great Patriotic war, reciprocal-redistributive relations

For citation: Ovchinnikov, A. V. (2020). Obrazy «Velikoi Pobedy»: retsiprokno-redistributivnye aspekty kategorii viny i otvetstvennosti [Images of the “Great Victory”: Reciprocal-redistributive Aspects of Categories of Guilt and Responsibility]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 68–75.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней, и потому воспоминания о ней, привлекающие все большее внимание исследователей (см., например, [5, 6, 8]), не могут не содержать мотивы исторической вины и ответственности. Первоначально эти проблемы являлись логическим продолжением военной пропаганды воюющих сторон, затем стали важными составляющими политики памяти победителей и побежденных. Как военная пропаганда, так и содержание политики памяти были направлены на конструирование актуальных мифов, которые активно использовались в текущей обстановке для обоснования тех или иных действий властей (а иногда и сами эти практические шаги являлись результатом укорененности мифа).

Созданный усилиями интеллектуальной элиты и деятелей культуры мифический продукт предназначался прежде всего для массового сознания, и потому в нем логично обнаружить архаические мотивы, которые делали вину и ответственность еще более эмоционально насыщенными, создавали примитивный исторический нарратив «объяснения» причин военного столкновения, жестокости врага и, что важно в контексте статьи, причин, по которым бывший враг должен испытывать чувство вины и нести определяемую победителем ответственность.

Вторая мировая и особенно Великая Отечественная война, по сути, являлись столкновением «традиционного и индустриального» миров, когда в таких странах, как Германия и СССР, власть оказалась в руках идеократически настроенных групп, выходцев из непривileгированных и относительно малообразованных слоев населения. Ими был установлен своеобразный «новый теократический режим»,

когда диктатор одновременно являлся и главным «жрецом» укомплектованной обязательными массовыми ритуалами утопической идеологии-религии. Если германская идеология обосновывала захват новых территорий лишь в Восточной Европе, Северной Африке и Передней Азии, то аппетиты советской номенклатуры были более масштабны: как доказывали многочисленные специалисты по классовой борьбе (а ныне знатоки нюансов «столкновения цивилизаций» и прочих культурологических проблем), коммунизм под началом СССР должен был «победить» во всем мире...

«Всеохватывающие» идеологические мифы XX в. схожи с древними и средневековыми религиозными системами, в рамках которых «другому» в картине мире сначала отводилось определенное место, а затем предпринимались все доступные, вплоть до военных, действия по приведению реальности в соответствие с религиозными конструкциями (вспомним, например, обоснование монгольских завоевательных походов). Однако воплощение в жизнь тогдашних «идеологических» фантазий осуществлялось при помощи мечей, сабель, луков и стрел, тогда как идеологические грезы XX в. подкреплялись танками, пушками, снарядами, самолетами, а позже и атомным оружием.

Во время Второй мировой войны наибольшее количество человеческих жертв повлекло за собой столкновения именно между идеократическими режимами, живущее в большинстве своем еще традиционным сознанием население испытало глубокий шок от результатов соединения разрушающей силы современного оружия и современных же квазирелигиозных идеологов. Результатом шока стала обширная психологическая травма, эмоциональный заряд которой, как оказалось позднее, стал активно

использоваться для конструирования травмы исторической у следующих, не воевавших поколений и формирования у них комплексов исторической вины и ответственности.

В современной России эти психологические комплексы стали основой идеологии, которая, как и в предвоенный период, опирается на мировоззрение «глубинного народа» (удачное выражение В. Суркова [3]) и опять «сцепляется» с новейшими достижениями индустриального развития (наглядным примером тому является известное выступление А. А. Проханова в 2014 г. в военно-воздушной части г. Энгельса Саратовской области на фоне способного нести ядерные заряды ракетноносца «Изборск»: *«Произошло слияние машины и человека — то, о чем я мечтал всю свою жизнь, одухотворение машины»*; английские и американские *«летчики в свои окуляры вдруг видят (на самолете. — А. О.) эту надпись: “Изборский клуб”, эту эмблему»*) [1].

Краеугольным камнем современной российской идеологии стала «Великая Победа», сочетающая в себе известные черты мифа: спасение мира от хаоса, установление нового миропорядка и желание во что бы то ни стало его сохранить, несмотря на изменившиеся за 75 лет обстоятельства. Потребителем этого мифа стал упоминавшийся «глубинный народ», и потому конфигурация мифического конструирования должна соответствовать запросам массового сознания, его обыденно-моральному пониманию окружающего мира в синкретическом единстве прошлого, настоящего и будущего. В этом дискурсе категории вины и ответственности играют важнейшее значение, что открывает серьезные научные перспективы их изучения методологическим инструментарием социально-политической антропологии [13, 217–246].

Определимся, что в данной статье «Великая Победа» — это основанный на исторических фактах комплекс исторических, политических, религиозных и общемировоззренческих представлений, выражающихся в практических действиях во внутренней и внешней политике государства и инициативах гражданского общества, материальными носителями которого являются как места памяти (памятники советским солдатам, парки Памяти и т. д.), так и другие источники информации о войне

(книги публицистического и научного характера, документальные и художественные фильмы и т. д.). В 2020 г. в связи с соответствующей поправкой в Конституцию «Великая Победа» приобрела и строго очерченные юридические рамки, что объективно затруднило основанное на научной логике изучение самих событий 1941–1945 гг., но вместе с тем сделало память о них интереснейшим объектом исследований.

Благодаря энергичным и планомерным усилиям государства «Великая Победа» оказалась неотъемлемой частью жизни современных россиян; вернее, граждане Российской Федерации осознают себя россиянами во многом благодаря «Великой Победе». Конструирование общенациональной идентичности — цель вполне рациональная и находится в сфере интересов модернизирующегося государства. Вместе с тем обеспечивающие такую идентичность образы почти повсеместно носят в разной степени мифический, иррациональный характер.

В случае «Великой Победы» категория «миф» означает не фальсификацию истории, а совокупность собранных для определенных политических нужд фактов, и если в этот фактологический ряд «вкрапляется» размывающая общий каркас информация, то ожидаемый политический эффект оказывается минимальным, и потому распространение нежелательной информации государством обычно «купируется». Действительно, с политической точки зрения конструирующие общенациональную идентичность образы «должны» обладать значительной иррациональной «архетипической» составляющей, в противном случае стремление к логической непротиворечивости может стать поводом для бесконечных дискуссий и их неприятия обывателем, которому «некогда разбираться, кто прав, а кто виноват» (см. опыт 1990-х гг.).

В процессе научного анализа коммеморативного аспекта «Великой Победы» очень важно не отождествлять объект и методологию исследования, иначе место методологических оснований могут занять наборы ситуативных установок, которые будут «подтверждаться» специально отобранным эмпирическим материалом (примером такого подхода может служить монография авторов из Казани о якобы

научных основах развития патриотизма в вузах: в первой части вместо обстоятельного разбора методологии содержатся рассуждения о том, «что есть Россия?», о «характерных чертах русской ментальности», «духовной безопасности», т. е. обо всем том, что и является содержанием мифа; в следующей части издания проблема рассматривается в идеологическом измерении, здесь присутствует подраздел «Бои после Победы»; в заключительной части представлены технологии практического развития патриотизма в вузовской среде) (7, 3, 4).

«Великую Победу» продуктивно изучать в рамках модернизационного подхода (популярный ныне в России так называемый «цивилизационный подход» содержит в себе многочисленные неverified составляющие [19, 96], и потому в контексте статьи он сам должен стать объектом изучения, что, в силу возможностей автора, будет продемонстрировано ниже).

В координатах теории модернизации [16, 217–246] «Великая Победа» иррациональными способами обеспечивает мобилизацию российского социума для решения задач дальнейшего догоняющего развития. Примеры современных развитых стран, особенно прошедших стадии корпоративного государственно-монополистического капитализма, свидетельствуют о том, что в подобных идеологиях значительную роль играют домодерные архетипические образы. Эпоха модерна совпадает с секуляризацией и приходом на политическую арену социальных групп, которые до этого не имели политического голоса и осмысливали окружающий мир категориями «низкой» «народной» культуры. Именно эти страты населения были «потребителями» (нео)языческих по своему характеру идеологий, в которых определяющую роль играли стоящие над человеком высшие силы (что типично для так называемой «традиционной культуры»). В российском случае такой сакральной силой стал олицетворяемый государством явно архетипический образ «Родины-матери», «Отечества».

В современной России сложился синкретический (нео)языческий культ государства, в который на правах подчиненных религиозно-политических учений включены «традиционные религии» [14, 354, 355]. Одним из наиболее значимых воплощений этого культа

является «Великая Победа» [4]. Исследователи не раз отмечали связанные с культом предков религиозные (нео)языческие коннотации «Бессмертного полка» [2, 98]. Циклически повторяющиеся из года в год и связанные с памятью о войне календарные ритуалы по сакральной наполняемости и организации напоминают циклы христианских праздников. «Священный» характер войны и памяти о ней активно пропагандируется современными идеологами, выражающими не свое личное, а некое коллективное мнение («...для нас — Советского Союза, всего народа и каждой семьи — война была не только Отечественной, но и священной. Ни одну войну в России не называли Священной. Такое восприятие нашествия мирового фашизма вылилось в форму выполнения каждым своего сакрального долга. Вот что стало источником духа выдержки, терпения и Победы армии и тыла, народа и страны») [18, 9]. Для «Великой Победы» характерна типичная религиозная проблема соотношения веры и разума (показательно отношение министра культуры РФ В. Р. Мединского к сомнениям профессионального историка в реальности «подвига 28 героев-панфиловцев» и его призыв относиться к их биографиям как к «житиям святых») [10]. (Нео)языческие аспекты «Великой Победы» позволяют изучить связанные с ней проблемы представлений о вине и ответственности в заявленных выше методологических рамках социально-политической антропологии.

(Нео)языческие культы структурируют окружающий мир согласно законам так называемой «моральной» или «крестьянской» экономики. Экономические, политические, социальные, семейные, религиозные и другие аспекты, как и в «Великой Победе», здесь разделить невозможно, они синкретически слиты воедино (вспомним известное утверждение, что «война ворвалась в каждый дом, коснулась каждой семьи»). Для такого типа отношений характерны коллективная собственность и неотделимость человека от той общности, в которой он проживает. Для коллективного типа собственности характерны не рыночные (частнособственнические), а дарительные (реципрокные) и перераспределительные (редистрибутивные) отношения [9, 134–285; 12; 17, 68 и т. д.]. Сам факт рождения человека в таком социуме означал, что все его члены

должны заботиться о нем, тем самым преподнося дар, который, в свою очередь, персонифицировался с высшими силами. Этот алгоритм воспроизведен в образе «Родины-матери», а так как за подарком всегда следует отдарок, то человек автоматически обязывается действовать во благо своей Родины. На Востоке этот негласный, но осознаваемый всеми моральный договор обычно воплощался в таких отдарках, как обязательные мобилизационные общественные работы и участие в воинских формированиях на стороне правителя. Нежелание предоставлять отдарок грозило нарушением гармонии между объединенными в некую общность людьми и высшими силами, что обуславливало коллективное осуждение и легитимизировало насилие в отношении «неблагодарного». На таких же основаниях в системе «Великой Победы» построено отношение к вине коллаборационистов. Их вина состоит не просто в нелояльности к действующему политическому режиму, а в желании (пусть часто ими и неосознаваемом) разрушить гармоничный миропорядок, в котором нет места вторгшемуся врагу. Поэтому и ответственность за переход на вражескую сторону «должна быть» максимальной, так как перешедшие, нарушив множество моральных обязательств, оказались неблагодарными.

В традиционных обществах практики принесения жертв и чтения молитв были основаны на реципрокно-редистрибутивных принципах. Высшие силы получали дар и были обязаны исполнять обращенные к ним просьбы, т. е. распределять среди смертных земные блага. Отсутствие реакции сакральных сил могло спровоцировать избиение «виновных» идолов, падение доверия к своим «провинившимся» богам и переключение внимания на чужих богов. Риторика о «напрасных жертвах» в Великую Отечественную, о вине за это государства и его ответственности, актуализация темы об оказавшихся никому не нужными инвалидах войны, на шумевшая история с журналистским опросом о целесообразности сдачи Ленинграда, обращение в качестве положительного примера к опыту союзников грозит именно такими последствиями, что, видимо, на интуитивном уровне понимают власти и чему всеми доступными средствами оказывают противодействие. Это затрудняет научный

анализ ответственности советских властей за преступления против контролируемого ими в годы войны населения. Например, основанная на исследованиях феномена советской номенклатуры и реальных фактах гипотеза о желании властей в ходе кровопролитной битвы за Москву защитить и свои подмосковные дачи и, собственно, город, вряд ли найдет сторонников в отечественной академической сфере и вряд ли будет транслироваться в массовое сознание. Синкретическое восприятие государства и общества объединяет образы властей и Родины, делает власти потенциально непогрешимыми «кормильцами» и «защитниками», критика которых даже сегодня переводит критикующих в разряд «современных власовцев от науки».

«Великая Победа» рисует перед обывателем эпическую картину преодоления хаоса и упорядочивания мира, а гарантом стабильности сложившегося ценою таких огромных жертв космического порядка позиционируется государство, что снимает с него ответственность за возможные напрасные жертвы («нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим», Б. Окуджава). Монополия государства на «Великую Победу» затрудняет развитие демократии в современной России, так как делает реальную оппозицию морально нелегитимной: здоровой политической конкуренции и дискуссии противопоставляются архаичные обвинения в нарушении принципов дарообмена с предками, даровавшими новым поколениям жизнь ценою своей.

В дискурсе мировой политики, точнее официально транслируемых идеологических представлений о ней, реципрокно-редистрибутивные аспекты «Великой Победы» сводятся к констатации спасения мира от фашистской угрозы ценою огромных жертв и ожидания конкретных уступок-отдарков от спасенных. Декларируемое отсутствие таких отдарков и соответственно возможностей конвертировать их в распределяемые блага позволяет сформировать в массовом сознании мифологему о «неблагодарности» союзников и освобожденных Красной армией стран Восточной Европы. Мотив «вины неблагодарных» активно используется во внешнеполитических целях. Основанные на моральной экономике идеологемы «Великой Победы» вступают

в противоречие с «западным» (рациональным и частнособственническим) пониманием прошлого и настоящего окружающего мира, что еще более усугубляет негативные последствия так называемых «войн памяти». Это противоречие законодательно закрепилось в 2020 г. с принятием поправки в статью 67 Конституции: *«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается»* [11]. Исходя из этого текста, ответственность за «неправдивую трактовку» событий Великой Отечественной устанавливается с позиций моральной экономики, а вина конструируется в форме неблагодарности перед предками и сакральными коллективными телами «народ» и «Отечество».

Архаизации связанных с Великой Победой представлений об исторической вине и ответственности способствует широкое распространение так называемого «цивилизационного подхода», в дискурсе которого основными субъектами прошлого и настоящего оказываются коллективные личности — «цивилизации». На деле образ «цивилизации» часто отождествляется с образами «народа», «Родины» и «Отечества», что «консервирует» вину и ответственность на долгое время и «приписывает» их людям, лично не знакомым, не совершившим в своей жизни ничего плохого, но вовлекаемым через исторический нарратив в эпическое «межцивилизационное» противостояние. Иными словами, цивилизационный подход предоставляет желающим удобный инструмент для упорядочивания реальности в нужном эмоционально заданном векторе с последующим выстраиванием символических границ и конструированием ситуации конфликта между «цивилизациями». Огромный информационный поток вырабатывает у обывателя, с одной стороны, «комплекс превосходства» над «Западом» («западной цивилизацией»),

как виновным в «неблагодарности» за спасение от верной гибели от фашизма, с другой — еще более усугубляет длящийся десятилетиями травматический шок от факта смерти на войне десятков миллионов человек. Ставший знаменитым слоган «Можем повторить» свидетельствует об определенном успехе усилий по конструированию мифа о непрерывной войне России с «Западом», в которой Великая Отечественная была лишь отдельным ярким эпизодом («горячей войной», в отличие от идущей сегодня «второй холодной»).

Выше отмечалось, что комплекс «Великой Победы» в том виде, в котором он сегодня репрезентуется, оказывает значительное влияние на те категории населения, в мировоззрении представителей которых сильны архаические пласты. Это часто коррелирует с соответствующим уровнем образования, работой в бюджетных учреждениях («постобщинах» [15]), коллективистским мировоззрением и т. д. Данные социальные группы количественно составляют большинство населения России и в организационно-исполнительном аспекте, безусловно, обеспечивают успешность многих государственных модернизационных мегапроектов. Однако в качественном отношении локомотивом модернизации являются образованные горожане, стремящиеся работать в частном секторе. В этой социальной среде имеется заказ на преобладание в конструкциях «Великой Победы» рациональных аспектов, в выведении ее за пределы (нео)языческого культа с иррациональными коннотациями вины и ответственности и контролируемые государством моральными обязательствами человека перед предками. Основанием подобных настроений, безусловно, является частнособственническая составляющая. Скорее всего именно данный социальный запрос будет определять вектор эволюции «Великой Победы» в будущем и изменения массовых представлений об исторической вине и ответственности.

Список литературы

1. Александр Проханов о визите в Энгельс: «Для меня это миг торжества», 19.08.2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vzsar.ru/news/2014/08/19/aleksandr-prohanov-o-vizite-v-engels--dlya-menya-eto-mig-torzhestva.html> (дата обращения: 01.10.2020).
2. Война как праздник, праздник как война: перформативная коммеморация Дня Победы / А. С. Архипова, Д. Ю. Доронин, А. А. Кирзюк, Д. А. Радченко, А. Д. Соколова, А. С. Титков, Е. Ф. Югай // Антропологический форум. 2017. № 33. С. 84–122.
3. Владислав Сурков: Долгое государство Путина (О том, что здесь вообще происходит), 11.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (дата обращения: 01.10.2020).
4. Восставшие мертвецы 2.0. Историк Галина Аккерман — о культе Победы и победе нового язычества в России. 20.01.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://mnews.world.ru/vosstavshie-mertvetsy-2-0-istorik-galina-akkerman-o-kulte-pobedy-i-pobede-novogo-yazychestva-v-rossii/?fbclid=IwAR1fLiM1vaM4Eh8F7JA-Hr6DFxAOjYzoH-JNiONE-GT1gYgv0Z346cn1VO0> (дата обращения: 01.10.2020).
5. Головашина О. В., Аникин Д. А. Неожиданные издержки победы: 4 ноября в контексте политики памяти и массового исторического сознания // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 4. С. 66–73.
6. Головашина О. В., Линченко А. А., Аникин Д. А. Память о Великой Отечественной войне: День Победы в историческом сознании россиян // Социол. исслед. 2017. № 3. С. 123–133.
7. Курашов В. И., Тузиков А. Р., Зиннурова Р. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе России. Казань : Изд-во КНИТУ, 2015.
8. Макарова Л. В. Великая Отечественная: что остается в личной памяти? // Социол. исслед. 2015. № 11. С. 107–114.
9. Мосс М. Общества. Обмен. Личность // Труды по социальной антропологии. М. : КДУ, 2011.
10. Мединский сравнил 28 панфиловцев со «святыми». 26.11.2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/society/26/11/2016/5839b8d39a794770ed6331f4> (дата обращения: 01.10.2010).
11. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 [Электронный ресурс]. URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/> (дата обращения: 01.10.2020).
12. Неформальная экономика: Россия и мир / под ред. Т. Шанина. М. : ЛОГОС, 1999.
13. Овчинников А. В. Историческая ответственность и моральная экономика: архаические смыслы в ситуациях постмодерна // Философские контексты современности: принцип ratio и его пределы. ФИКОС 2020. Ижевск : Изд. центр «Удмуртский университет», 2020. С. 176–180.
14. Овчинников А. В. Корпоративный ислам в парадигме модернизации (опыт Татарстана) // Тр. IV Конгр. рос. исследователей религии. Религия как фактор взаимодействия цивилизаций : сб. докл. / под ред. А. П. Забияко и др. Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. С. 354–362.
15. Овчинников А. В. Постобщина как фактор «корпоративистской» модернизации (институциональный аспект) // Новые институты для новой экономики : сб. материалов XII Международ. науч. конф. по институциональной экономике, 25–29 апреля 2018 г. Казань : Изд-во «Познание», 2018. С. 272–280.
16. Побережников И. В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. Вып. 4 : Евразийское пограничье. Екатеринбург : Волот, 2001. С. 217–246.
17. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Эконом. социология. 2002. Т. 3, № 2. С. 62–73.
18. Тагиров Э. Р. По ком звонит Колокол Истории? Размышления о Великой, неоконченной войне. Казань : Центр инновацион. технологий, 2020.
19. Шнирельман В. А. Цивилизационный подход как национальная идея // Национализм в мировой истории / под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М. : Наука, 2007. С. 82–104.

References

1. Aleksandr Prokhanov o vizite v Engel's: «Dlya menya eto mig torzhestva», 19.08.2014. URL: <https://www.vzsar.ru/news/2014/08/19/aleksandr-prohanov-o-vizite-v-engels--dlya-menya-eto-mig-torzhestva.html> (mode of access: 01.10.2020).
2. Arkhipova, A. S., Doronin, D. Yu., Kirzyuk, A. A., Radchenko, D. A., Sokolova, A. D., Titkov, A. S., Yugai, E. F. (2017). Voina kak prazdnik, prazdnik kak voina: performativnaya kommemoratsiya Dnya Pobedy [War as a holiday, holiday as a war: performative commemoration of Victory Day]. *Antropologicheskii forum*, 33, 84–122.
3. Vladislav Surkov: Dolgoe gosudarstvo Putina (O tom, chto zdes' voobshche proiskhodit), 11.02.2019 [Elektronnyi resurs]: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (mode of access: 01.10.2020).
4. Vosstavshie mertvetsy 2.0. Istorik Galina Akkerman — o kul'te Pobedy i pobede novogo yazychestva v Rossii, 20.01.2020. URL: <https://mnews.world.ru/vosstavshie-mertvetsy-2-0-istorik-galina-akkerman-o-kulte-pobedy-i-pobede-novogo-yazychestva-v-rossii/?fbclid=IwAR1fLiM1vaM4Eh8F7JA-Hr6DFxAOjYzoH-JNiONE-GT1gYgv0Z346cn1VO0> (mode of access: 01.10.2020).
5. Golovashina, O. V., Anikin, D. A. (2018). Neozhidannye izderzhki pobedy: 4 noyabrya v kontekste politiki pamyati i massovogo istoricheskogo soznaniya [Unexpected costs of victory: November 4 in the context of the politics of memory and mass historical consciousness]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4, 66–73.
6. Golovashina, O. V., Linchenko, A. A., Anikin, D. A. (2017). Pamyat' o Velikoi Otechestvennoi voine: Den' Pobedy v istoricheskom soznanii rossiyan [Memory of the great Patriotic war: Victory Day in the historical consciousness of Russians]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 3, 123–133.

7. Kurashov, V. I., Tuzikov, A. R., Zinnurova, R. I. (2015). *Nauchnye osnovy razvitiya patriotizma v sovremennoi vysshei shkole Rossii* [Scientific foundations of the development of patriotism in modern higher education in Russia]. Kazan': Izd-vo KNITU.
8. Makarova, L. V. (2015). Velikaya Otechestvennaya: chto ostaetsya v lichnoi pamyati? [Great Patriotic War: what remains in your personal memory?]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 11, 107–114.
9. Moss, M. (2011). *Obshchestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po sotsial'noi antropologii* [Societies. Exchange. Personality. Works on social anthropology]. M.: KDU.
10. Medinskii sravnil 28 panfilovtsev so «svyatymi», 26.11.2016. URL: <https://www.rbc.ru/society/26/11/2016/5839b8d39a794770ed6331f4>. (mode of access: 01.10.2020).
11. Novyi tekst Konstitutsii RF s popravkami 2020. URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/> (mode of access: 01.10.2020).
12. Shanina, T. (ed.) (1999). *Neformal'naya ekonomika: Rossiya i mir* [The informal economy: Russia and the world]. M.: LOGOS.
13. Ovchinnikov, A. V. (2020). Istoricheskaya otvetstvennost' i moral'naya ekonomika: arkhaiskie smysly v situatsiyakh postmoderna [Historical responsibility and the moral economy: the archaic meanings in situations of post-modernism]. In *Filosofskie konteksty sovremennosti: printsip ratio i ego predely. FIKOS 2020*, 176–180. Izhevsk: Izd. tsentr «Udmurtskii universitet».
14. Ovchinnikov, A. V. (2018). Korporativnyi islam v paradigme modernizatsii (opyt Tatarstana) [Corporate Islam in the paradigm of modernization (the experience of Tatarstan)]. In A. P. Zabayko (ed.) *Trudy IV Kongressa Rossiiskikh issledovatelei religii. Religiya kak faktor vzaimodeistviya tsivilizatsii: sbornik dokladov*, 354–362. Blagoveshchensk: Izd-vo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta.
15. Ovchinnikov, A. V. (2018). Postobshchina kak faktor «korporativistskoi» modernizatsii (institutsional'nyi aspekt) [Post-community as a factor of “corporatist” modernization (institutional aspect)]. In *Novye instituty dlya novoi ekonomiki: sbornik materialov XII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii po institutsional'noi ekonomike, 25–29 aprelya 2018 g.*, 272–280. Kazan': Izd-vo «Poznanie» Kazanskogo innovatsionnogo universiteta.
16. Poberezhnikov, I. V. (2001). *Teoriya modernizatsii: osnovnye etapy evolyutsii* In *Problemy istorii Rossii* [Modernization theory: main stages of evolution]. (Vol. 4: Evraziiskoe pogranič'ye, 217–246). Ekaterinburg: Volot.
17. Polan'i, K. (2002). Ekonomika kak institutsional'no oformlennyy protsess [Economics as an institutionalized process]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya*, 3, 2, 62–73.
18. Tagirov, E. R. (2020). *Po kom zvonit Kolokol Istorii? Razmyshleniya o Velikoi, neokonchennoi voine* [For whom does the bell of History ring? Reflections on the great, unfinished war]. Kazan': Tsentr innovatsionnykh tekhnologii.
19. Shnirel'man, V. A. (2007). Tsivilizatsionnyi podkhod kak natsional'naya ideya [Civilizational approach as a national idea]. In V. A. Tishkov, V. A. Shnirel'man (eds.), *Natsionalizm v mirovoi istorii*, 82–104. M.: Nauka.

Сведения об авторе

Овчинников Александр Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Лаборатории трансдисциплинарных исследований познания, языка и социальных практик философского факультета Томского государственного университета, г. Томск, Российская Федерация

Information about the author

Alexandr V. Ovchinnikov, Cand. Hist. (Eng.), Research associate of the Laboratory of Interdisciplinary Studies of Cognition, Language and Social Practices of the Faculty of Philosophy, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОШЛОГО

УДК 316.653 + 374.7 + 316.346.36:159.953

Thomas Sherlock

United States Military Academy, West Point, USA

E-mail: Thomas.Sherlock@westpoint.edu

Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth

This article aims to discuss the reasons and consequences of the recent historical monuments' destruction in the United States. The author uses the concept of Foundation myths as well as opinion polls' results and cases from modern history to provide argumentation for the idea of ongoing polarization in American society. The results show that, although the political elites are relatively united on the issue of historical memory, there is a certain division among ordinary citizens. The causes for the recent attacks on the monuments and the historical figures they represent lies in the crisis, caused by the COVID-pandemic, economic downturn and protests over racism. However, the fundamental reason lies in the chronic socio-economic, cultural, and political difficulties, particularly income inequality, political polarization of elites and mass publics of American society. In the conclusion of the article, the author discusses how the discourse over historical figures and foundation myths shaped 2020 Presidential elections in the US and how specific agenda related to Founding Fathers was used by the US President Donald Trump during his campaign.

Key words: foundation myth, memory, legitimacy, monument, society, commemoration

For citation: Sherlock, T. (2020). Evaluating the Legitimacy of the American Foundation Myth. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 76–81.

Submitted: 30.10.2020

Accepted: 02.12.2020

Томас Шерлок

Военная академия США, Вест-Поинт, США

Оценка легитимности американского «мифа основания»

Цель этой статьи — обсудить причины и последствия недавнего разрушения исторических памятников в США. Автор использует концепцию «мифа основания», а также результаты опросов общественного мнения и случаи из современной истории для аргументации идеи продолжающейся поляризации в американском обществе. Результаты показывают, что хотя политические элиты относительно едины в вопросе исторической памяти, есть определенное разделение среди простых граждан. Причины недавних нападений на памятники кроются в кризисе, вызванном пандемией, экономическим спадом и протестами против расизма. Однако основная причина — в хронических социально-экономических, культурных и политических трудностях, в частности, в неравенстве доходов, политической поляризации элит и массовизации американского общества. В заключение автор рассказывает о том, как дискурс об исторических личностях и мифах основания повлиял на президентские выборы 2020 г. в США и как конкретная повестка дня, связанная с отцами-основателями, использовалась президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании.

Ключевые слова: миф основания, память, легитимность, памятник, общество, коммеморация

Для цитирования: Шерлок Т. Оценка легитимности американского «мифа основания» // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 76–81.

Поступила в редакцию: 30.10.2020

Принята к печати: 02.12.2020

How can we make sense of the recent destruction of historical monuments in the United States which commemorate individuals as different as Christopher Columbus, George Washington, Robert E. Lee, Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, and Woodrow Wilson? How widespread is this phenomenon? Does it herald a “critical juncture” in US politics that will generate fundamental disputes over the legitimacy of the American Republic?

The causes for the current attacks on core American symbols and myths are diverse but often mutually reinforcing. The COVID-19 pandemic, the subsequent severe economic downturn, and protests over racism sparked by the killing of George Floyd by a Minneapolis policeman have intensified chronic socio-economic, cultural, and political difficulties, particularly income inequality, political polarization of elites and mass publics, and ideological battles over how to define American identity. This perfect political storm has led to the destruction or removal of statues and monuments associated with contested views of the American past.

This political behavior has emerged from above and below in the American polity. While some

statues have been toppled due to spontaneous or planned action by societal groups, others have been removed in an orderly fashion by incumbent political and cultural elites. How and whether such action occurs often depends on the local political landscape.

For example, in the wake of the death of George Floyd (May 25, 2020) and nationwide demonstrations held on June 19 or “Juneteenth” (marking the date the last slaves were freed at the end of the Civil War), the American Museum of Natural History in New York City announced it would remove a well-known equestrian statue of Theodore Roosevelt that had stood at the museum’s entrance since 1940. The sculpture, with a commanding image of Roosevelt flanked by likenesses of a Native American and an African American on foot, had been criticized by activists for years as a bigoted representation. The head of the museum now assessed the work as racist in its “hierarchical composition.” The mayor of New York supported the decision to remove the statue.

By contrast, a bust of Ulysses S. Grant and other statues located in San Francisco’s Golden Gate Park were toppled by indignant multi-racial

crowds on “Juneteenth” 2020. Although Americans widely respect Grant for his pivotal role in defeating the Confederate rebellion, he is also criticized by some for briefly owning a slave and for decisions when he was president that led to the gross abuse of the Native American Lakota tribe. President Trump used the controversies over American history in the final months of the 2020 election campaign to accuse the Democratic Party of promoting or shielding such behavior. In his Executive Order issued on June 26, 2020, Trump singled out for condemnation the destruction of the statue of Grant.

Although little violence had occurred during the protests against monuments deemed supportive of racism and bigotry, Trump characterized the protestors as violent extremists motivated by radical ideologies “that call for the destruction of the United States system of government” [5]. According to Trump, “their selection of targets reveals a deep ignorance of our history, and is indicative of a desire to indiscriminately destroy anything that honors our past and to erase from the public mind any suggestion that our past may be worth honoring, cherishing, remembering, or understanding”. Speaking the following month at July 4 celebrations held at Mount Rushmore, Trump praised Washington, Jefferson, Lincoln, and Theodore Roosevelt, telling the audience that “No movement that seeks to dismantle these treasured American legacies can possibly have a love of America at its heart... No person who remains quiet at the destruction of this resplendent heritage can possibly lead us to a better future” [12]. Trump understood that his manipulation and exploitation of existing historical controversies would appeal to patriotic sentiment and generate political support, particularly during the highly partisan presidential race of 2020. For many Americans, the largely peaceful but confrontational protests against racism in Seattle during this period lent credibility to Trump’s narrative.

Although the treatment of the sculptures of Grant and Roosevelt reflect different modes of historical contestation, these and similar acts are part of a broader debate on the political and ideological legacies of America’s leading historical figures, with an increasing focus on the Founding Fathers. Long-standing among academics and activists, this dispute over the legitimacy of the American Pantheon commanded little national attention until recently. It gradually extended into national politics due in large part to growing public criticism

of statues and flags associated with the American Confederacy. Over the past decade, Americans have increasingly evaluated these objects as symbols of slavery and contemporary white supremacy, not simply as politically neutral artifacts of regional history and culture.

Activist groups, such as Black Lives Matter, as well as establishment politicians at the local level, have mobilized public opinion against Confederate monuments. After the Democratic Party won control of the state legislature in Virginia in 2019 elections, statues and busts of Confederate leaders in legislative buildings in Richmond, the capital, were ordered removed by the new Party leadership. The legislature also empowered local authorities (and their constituencies) to determine the status of other Confederate monuments, enabling the mayor of Richmond to begin the removal of controversial Confederate statues along its Monument Avenue.

As the debate over the symbols of the Confederacy grew to national proportions, it broadened to include criticism of revolutionary Founders, particularly those who were slave-owners. This process intensified with the killing of George Floyd which intersected with the unsettling factors noted above, including long-term political polarization and the social and economic distress of the COVID-19 pandemic which disproportionately affected some minorities, including Black Americans. With increased frequency in 2020, Donald Trump attempted to exploit this political tumult by serving as the defender of a heroic image of the American Founding that was highly traditional and one-dimensional.

How does the American public evaluate the current controversy over monuments to the Confederacy and the revolutionary Founders? Public opinion surveys offer useful data in support of preliminary assessments. Popular approval among white Americans of the Black Lives Matter movement has increased in the aftermath of the killing of George Floyd. Yet American society is far from united on whether to take down Confederate monuments even though advocates for their removal condemn them as powerful symbols of racism and reminders of slavery.

In a June 2020 Quinnipiac University survey [1], 52 % of respondents (who were registered voters) supported the removal of Confederate statues from public spaces, marking a 13-point

increase from an August 2017 poll. But 44 % of respondents overall opposed taking any action. The controversy over Confederate “places of memory” has also exposed important political and racial fault lines: 80 % of Republican respondents opposed the removal of Confederate statues while 85 % of Democrats supported the measure (as reflected in the decisions of Virginia’s legislature). At the same time, 84 % of African-Americans were in favor of removal while 44 % of white Americans were not¹.

Public opinion is also divided, but not as deeply, over the race-based activism of the Black Lives Matter movement. While 68 % of respondents thought that discrimination against Blacks was a serious problem and 67 % supported the mass demonstrations sparked by the death of George Floyd, only 51 % overall had a favorable view of the BLM movement as opposed to 83 % of Black Americans. In terms of political affiliation, only 19 % of Republicans supported BLM while 89 % of Democrats expressed their approval. However, for every demographic category (gender, race, age, region, urban-rural) with the exception of “political affiliation/Republican,” a majority or at least plurality of respondents had a favorable view of BLM, from 71 % of the 18–34 age group to 42 % of rural inhabitants (40 % had an unfavorable view).

How vulnerable are the core myths of the United States amid these history-based quarrels?

Foundation myths are vital resources, providing a sense of common purpose and meaning to a polity. Theorists maintain that the legitimacy of a government or a state may decay or be swept away, and its stability endangered, if basic myths and beliefs are rejected by a sufficient number of elites and mass publics. The collapse of the Soviet Union was an example of this phenomenon².

In a survey conducted in June 2020, Black Americans expressed the strongest negative opinions of the American Founders. For example, 39 % of Black respondents favored the removal of statues honoring George Washington while

19 % of white respondents shared this opinion. Significant divisions by race also exist in the Democratic Party on the legitimacy of the Founders. Thomas Jefferson, like Washington, was a slave-owner. 62 % of white Democrats favor preserving memorials to Jefferson while only 33 % of Black Democrats endorse this position [8]. Republicans exhibit the strongest support for the American Pantheon. 80 % of Republicans as a whole oppose the removal of statues honoring Jefferson, while 52 % of all Democrats share this perspective.

Those respondents who self-identify as “very liberal” supported the preservation of statues to Jefferson by a margin of 47 % to 36 %. For moderate liberals, the margin was 58 % to 30 %. Although the Democratic Party includes radical and moderate liberals (among both Blacks and whites), who favor the removal of statues to Founders who were slave owners, its leadership, including Joe Biden, the president-elect and Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representatives, opposes such measures. Pelosi is a vocal advocate of removing statutes and memorials to Confederates on grounds of treason against the United States.

In another poll administered in July 2020, respondents were asked whether “monuments and statues of George Washington and Thomas Jefferson should be taken down or stay up” [2]. 46 % of Black respondents favored their removal (37 % were for their preservation). Clear majorities in all other demographic categories supported the status quo, including 83 % of white Americans; 59 % of liberals; 73 % of moderates; and 86 % of conservatives. 57 % of registered Democrats were in favor of preservation as well as 90 % of Republicans.

Significantly, a strong plurality of Hispanic Americans, a rapidly growing demographic category that often endures economic struggles and social discrimination, supported the traditional Pantheon: 44 % answered “heroes,” 26 % responded “villains,” and 21 % “It depends.” Among age groups, young Americans (under age 30) were the most critical of the Founders: 31 % saw them as “villains” while 39 % viewed the Founders as “heroes” (20 % selected “It depends”). Only 10 % of respondents over 45 years of age viewed Washington, Jefferson, and other founders as “villains”.

Any assessment of the legitimacy of the American foundation myth should emphasize that political elites are relatively united on the issue:

¹ For an insightful assessment of mounting political and socio-cultural divisions in the United States, see [11, 15].

² For classic scholarship on the political importance of foundation myths [9; 3, 372; 13, ch. 1].

the current leadership of the Democratic Party, and virtually all Republican Party leaders, do not back fundamental criticism of the Founders. As for American society, the survey data suggest that a solid majority of Americans overall remain committed to a positive image of the Founding Fathers. Despite the deep, often long-term, problems that now confront America, a robust majority of respondents in most demographic categories continue to find normative value in monuments and statues symbolizing the country's foundation myth.

Yet it is clear that positive representations of the American Founding do not enjoy unchallenged status, particularly among minorities of color. In a poll that asked separate questions about how respondents felt about Washington and Jefferson, Black Americans, who are most critical of the foundation myth, oppose the removal of statues honoring George Washington by only a narrow margin: 43 % in opposition and 39 % in favor (18 % "undecided") [8, 4]. Further, Black Democrats by a 43-to-33 % margin favored taking down statues to Thomas Jefferson, the primary author of the Declaration of Independence. By contrast, white Democrats favored keeping them undisturbed by a 62-to-25 % margin [8].

Approaching the issue from a broader perspective, another survey asked whether "the founders of our country are better described as villains or heroes." 39 % of Black respondents selected "villains" and 31 % chose "heroes" (16 % selected "It depends"). Clear majorities or pluralities, but of varied strengths, chose "heroes" in all other demographic categories: 71 % of white Americans; 50 % of Democrats (23 % "villains," 18 % "It depends"); 79 % of Republicans; and 56 % of Independents (15 % "villains," 21 % "It depends"). By more than a 2-to-1 margin, respondents who self-identified as "liberal" chose "heroes" (50 % to 23 %; 19 % "It depends") [2, questions 49, 51].

At the same time, support for the foundation myth is visibly thin for some demographic groups apart from Black Americans. The generational divide is particularly noteworthy. In the same survey, only 39 % of younger Americans (under

30 years) saw the Founders as "heroes" while 31 % viewed them as "villains". Fully 30 % of responses were distributed across "It Depends" (20 %) and "Don't know" (10 %). This data helps explain the substantial presence of younger whites in demonstrations against racism after the death of George Floyd³. By contrast, 77 % of respondents over 65 years considered the Founders to be "heroes"; only 6 % saw them as "villains".

Also significant is the fact that only 39 % of non-whites (a group that combines Blacks, Hispanics, and other minorities) saw the Founders as "heroes," while 31 % found them to be "villains" (the same percentages as for respondents under 30). That only nine percentage points separates these very different evaluations within a group that comprises approximately 30 % of the U.S. population should be another source of concern for political elites, particularly given the importance of foundation myths for the maintenance of national political identity and stability⁴. A closely related problem is that almost 20 % of respondents in this group chose the response "It depends" as to whether the Founders were "heroes" or "villains." This suggests that their evaluation of the American foundation myth depends in large part on whether they believe their life chances in America reflect the promise of equality and prosperity inherent in the myth. Yet the life chances of this group ("non-whites") are often disproportionately affected — and the group increasingly disaffected — by the significant political and socio-economic problems that America will face for the foreseeable future.

This article does not reflect the views of the United States Government or the United States Military Academy.

³ Scholars have recently focused on the political culture of youths in Western democracies to help explain the threat of "deconsolidation" of established democratic regimes. These assessments of the find youth attracted either to right-wing authoritarian populism or to radical liberalism [6, 10, 14].

⁴ For a controversial examination of the failure of American elites to mediate successfully a founding myth or story [7].

References

1. 68 % Say Discrimination Against Black Americans A «Serious Problem,» Quinnipiac University National Poll Finds; Slight Majority Support Removing Confederate Statues. URL: <https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=3663> (mode of access: 01.10.2020).
2. All results are for release after 9AM/ET Sunday, July 19, 2020 // Foxnews. URL: https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/07/Fox_July-12-15-2020_Complete_National_Topline_July-19-Release.pdf (mode of access: 01.10.2020).
3. Almond, G., Verba, S. (1963). *Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
4. And Strong majority of voters oppose tearing down statues honoring Washington, Jefferson, and Lincoln. URL: <https://justthenews.com/politics-policy/polling/strong-majority-voters-oppose-tearing-down-statues-honoring-washington> (mode of access: 01.10.2020).
5. Executive Order on Protecting American Monuments, Memorials, and Statues and Combating Recent Criminal Violence. URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-american-monuments-memorials-statues-combating-recent-criminal-violence/> (mode of access: 01.10.2020).
6. Foa, R. S., Mounk, Y. (2017, January). The Signs of Deconsolidation. *Journal of Democracy*, 28, 1, 5–15.
7. Huntington, S. (2005). *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. New York: Simon and Schuster.
8. JTN Poll Crosstabs. URL: https://justthenews.com/sites/default/files/2020-06/2020-06-22%20JTN%20POLL%20CROSSTABS_0.pdf (mode of access: 01.10.2020).
9. Moore, B. (1965). *Soviet Politics—The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social Change*. New York: Harper Torchbooks.
10. Norris, P. (2016). Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2933655 (mode of access: 01.10.2020).
11. Packer, G. (2020). *The Unwinding: An Inner History of the New America*. New York: Farrar, Straus, Giroux
12. Remarks by President Trump at South Dakota's 2020 Mount Rushmore Fireworks Celebration | Keystone, South Dakota. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-south-dakotas-2020-mount-rushmore-fireworks-celebration-keystone-south-dakota/> (mode of access: 01.10.2020).
13. Sherlock, T. (2014). *Historical Narratives in the Soviet Union and Post-Soviet Russia*. New York: Palgrave.
14. Taylor, P. (2016). *The Next America: Boomers, Millennials, and the Looming Generational Showdown*. New York: Public Affairs.
15. Wuthnow, R. (2016). *The Left Behind: Decline and Rage in Small-Town America*. Princeton: Princeton University Press.

Сведения об авторе

Шерлок Томас, PhD, профессор Военной академии США, Вест-Поинт, США

Information about the author

Thomas Sherlock, PhD, professor, United States Military Academy, West Point, USA

УДК 069:004.773.5 + 94:069(470) + 94:069(430) + 910.1:159.953

Дарья Анатольевна Бутейко

*Томский государственный университет, Томск, Россия
Берлинский университет им. Гумбольдта, Берлин, Германия*

E-mail: buteikod@cms.hu-berlin.de

Виртуальные мемориалы: опыт трансформации российских и немецких мемориальных музеев в онлайн-формат

В статье представлены проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются мемориальные и музейные пространства, расширяясь в онлайн-формат. Заявленная тема рассматривается во взаимосвязи с методом картографирования памяти, механизмами производства знаний и концептом аутентичности на конкретных примерах мемориальных музеев в России и Германии — Музея истории ГУЛАГа, Музея Победы, Мемориала Берлинской стены, Мемориала жертвам Холокоста и др.

Ключевые слова: виртуальные мемориалы, виртуальные музеи, аутентичность, картографирование памяти, виртуальные экскурсии

Благодарности: Подготовлено при поддержке РФФ, грант № 19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиарепрезентации».

Для цитирования: Бутейко Д. А. Виртуальные мемориалы: опыт трансформации российских и немецких мемориальных музеев в онлайн-формат // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 82–88.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Dar'ya A. Buteiko

*Tomsk State University, Tomsk, Russia
Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany*

Virtual Memorials: Experience of Transforming Russian and German Memorial Museums into Online Formats

This article will address the problems and challenges faced by memorial and museum spaces expanding online. We will discuss the proposed subject in relation to the method of memory-mapping, mechanisms of knowledge production and the concept of authenticity on the specific examples of memorial museums in Russia and Germany: GULAG History Museum, Victory Museum, Berlin Wall Memorial, Holocaust Memorial etc.

Key words: virtual memorials, virtual museums, authenticity, memory-mapping, virtual tours

© Бутейко Д. А., 2020

For citation: Buteiko, D. A. (2020). Virtual'nye memorialy: opyt transformatsii rossiiskikh i nemetskikh memorial'nykh muzeev v onlain-format [Virtual Memorials: Experience of Transforming Russian and German Memorial Museums into Online Formats]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 82–88.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Пандемия Covid-19 и карантинные меры повлекли за собой сдвиг в понимании музейного и мемориального пространства и катализировали его переход в онлайн-формат. Попытки переосмыслить определение музея предпринимались еще до пандемии 2020 г. Критика в адрес традиционного определения, делающего акцент на активной роли музея в «приобретении, хранении, исследовании, популяризации и экспонировании материального и нематериального наследия человечества и его окружения в целях образования, изучения и развлечения» [5], звучала прежде всего с позиции социальной ответственности музейных пространств. В альтернативной формулировке, предложенной годом ранее комиссией Международного совета музеев ИКОМ, созданной по инициативе президента совета Суай Аксой, акценты музейной деятельности были расставлены несколько иначе.

«Музеи — это демократизирующие, инклюзивные и полифонические пространства, созданные для критического осмысления и обсуждения прошлого и будущего. Отвечая на текущие конфликты и вызовы времени, музеи сохраняют для общества эталонные артефакты и предметы искусства, оберегают и передают следующим поколениям историческую память и обеспечивают равные права и равный доступ к культурному наследию для всех людей. <...> Их деятельность основана на принципах партиципации и прозрачности и строится вокруг активного сотрудничества с различными сообществами» [4].

Если до пандемии новое определение было скорее заданным вектором движения, чем реальностью, в (пост)карантинный период, наложивший существенные ограничения на функционирование музейных и мемориальных пространств, все большее значение приобретали именно аспекты, затронутые в предложенном комиссией ИКОМ (Международного совета музеев) определении: способность отвечать на вызовы времени, инклюзивность,

полифоничность и социальная роль музея. Так, в условиях изменившейся доступности физических пространств многие музеи и мемориальные места активно искали контакт с посетителями в виртуальном пространстве. Музеи предлагали экскурсионные стримы, расширяли предложения по виртуальным турам, проводили образовательные курсы в онлайн-формате, вели влоги на ютубе и формировали комьюнити на социальных платформах.

В данной статье мы рассмотрим особенности перехода музейного и мемориального пространства в онлайн-формат. Некоторые тенденции данной трансформации становятся различимы на конкретных примерах виртуализации памяти и мемориальных практик в Германии и России.

Картографирование памяти

Согласно французскому историку Пьеру Нора память концентрируется в определенных местах — *lieux de memoire* [18]. Мемориалы являются символическим центром на карте памяти, собирающим в себе и вокруг себя национальную память и историческую ответственность. В условиях недоступности физических музейных и мемориальных пространств или ограниченности доступа к ним актуальным стал вопрос: смогли бы виртуальные места успешно перенять данную функцию физических мемориалов? Ситуация с проведением знаковых мемориальных церемоний дала ответ скорее отрицательный. Так, ежегодная памятная церемония в мемориале Бухенвальд, посвященная освобождению лагеря от национал-социализма, не состоялась [17]. Московский Парад Победы был перенесен, несмотря на то, что озвучивались предложения проведения парада в виртуальном пространстве с использованием компьютерной графики. Найти равнозначный альтернативный вариант в онлайн-формате оказалось не так просто.

Возможно, причиной возникших сложностей с переформатированием памятных церемоний являлось отсутствие у виртуального мемориального пространства равнозначного символического капитала физического и географического места. Символический капитал, который позволяет мемориальным местам агировать как центр, как точка «сборки» памяти и манифестации ответственности, накапливается годами. Для общества, считающего в проведении мемориальных церемоний сигнал манифестации исторической ответственности, изменение места церемонии или ее протокола могло бы быть воспринято как сбой, профанация исторической памяти.

Искусствоведы Карол Дункан и Алан Валлач в своей хрестоматийной статье «Музей современного искусства как позднекапиталистический ритуал. Иконографический анализ» [11] заявляют о том, что музеи являются церемониальными памятниками, а музейные практики — ритуалом, имеющим сакральный характер. В дисциплинарных рамках культурной антропологии ритуал может быть определен как действие, основанное на наделении вещей символическими свойствами. Новейший философский словарь отмечает имманентную целенаправленность ритуальных действий, выражающуюся через семантику его языковых обозначений: «священнодействие» и «порядок». Ритуал — это священнодействие, связанное с установлением или поддержанием вселенской и социальной упорядоченности [6]. Бронислав Малиновский и Эмиль Дюркгейм указывают на социальную роль ритуала, который служит средством интеграции и поддержания целостности человеческих коллективов [Там же]. Как устойчивая последовательность действий, ритуал не может подлежать внезапному изменению, а в новом, измененном виде быстро и без конфликта быть валидированным широкой публикой. Поэтому в ближайшем обозримом будущем скорее маловероятным представляется сценарий, в котором виртуальные мемориалы потеснят физические музеи с их центральных позиций на карте памяти и станут центральными lieux de memoire, где кристаллизуется коллективная память.

Российские мемориалы преступлений коммунизма имеют в обозначенном выше контексте определенное преимущество перед

мемориалами, посвященными Великой Отечественной войне. Память о репрессиях так и не затвердела в определенном секулярном каноне, а значит, трансформация мемориалов политических репрессий в онлайн-формат не влечет за собой существенное изменение устоявшихся норм коллективных практик памяти. Возможно, отчасти с этим связаны ранние шаги, которые совершили мемориальные музеи политических репрессий в виртуальном пространстве. Так, уже в 2004 г. возникли Виртуальный музей ГУЛАГа, проект НИЦ «Мемориал», к началу 2012 г. на его сайте было представлено более 3000 экспонатов из 113 музеев [1]. В 2016 г. появился чешский Виртуальный музей ГУЛАГ Онлайн [13]. Для сравнения: московский Музей Победы, наиболее активный в виртуальном пространстве среди музеев Великой Отечественной войны, активно стал развивать свое виртуальное выставочное пространство в онлайн-формате только с 2017 г.

Аутентичность

С пониманием значения музейного и мемориального пространства тесно соотносится концепт аутентичности. Вальтер Беньямин, рассуждая об отличительных особенностях оригинала произведения искусства и его репродукции, указывал на «ауру оригинала» [7, 477]. Согласно немецкому историку искусства Детлефу Хоффманну аутентичность проявляется через эмоции, которые возникают от непосредственной коммуникации с объектами и пространством [15].

Чувство сопричастности, эмоциональной связи с прошлым становится возможным на исторических местах и при взаимодействии с историческими артефактами, будь то двери из бывших лагерей, как в Московском музее истории ГУЛАГа, столовые приборы, которые когда-то принадлежали бывшим узникам, как в Музее бывшего следственного изолятора на Ляйстиковштрассе в Потсдаме, или оплавленные стекла из Брестской крепости в российском Музее Победы. Оцифрованные предметы или места не могут обладать «аурой оригинала» в понимании Беньямина. Возможно, за счет этого они являются менее интересными и привлекательными для посетителей. С другой

стороны, именно в виртуальном пространстве возможна детальная реконструкция исторических событий и мест, которых уже более не существует или добраться до которых затруднительно: многочисленные лагеря ГУЛАГа были расположены на дальнем севере или востоке страны. Виртуальный тур по Музею Победы воссоздает день нападения на Брест во всех деталях: разбитые стекла домов и пожары; солдат, несущий воду для охлаждения орудий [3]. Музей истории ГУЛАГа идет другим путем, создавая виртуальные туры и видео мест бывших лагерей на Чукотке и Колыме. Авторы туров отказываются от реконструкции, на видео запечатлены остатки разрушенных лагерей [2]. Чешский Виртуальный музей ГУЛАГ Онлайн предлагает посещение остатков бывших лагерей, сопровождая туры дополнительной информацией: планами лагерей, картами и текстами [14].

Возможность осмотреть исторические места, пройти по ним в виртуальной или дополненной реальности способствует тому, что посетитель оказывается способным визуализировать историческое место и пережить определенные эмоции, наделяя таким образом виртуальное пространство свойствами «аутентичного». В конечном итоге восприятие аутентичности, основанной на эмоциях, индивидуально: там, где один реципиент не чувствует связи с объектом, другой считает эту связь очевидной.

Для преобладающей части экспертного сообщества аутентичность рассматривается прежде всего как созданный концепт или нарратив. Согласно Ахиму Саупе [20] объекты или феномены признаются аутентичными, когда история их возникновения или применения бывает рассказана. Предметы без артикулированной истории не маркируются как «аутентичные». Аутентичность, таким образом, является не определенным свойством предмета, изначально ему присущим, а лишь приобретенным, и мы вправе говорить об определенном временном периоде, в котором объект стал «аутентичным».

Аутентичность связывается с сохранением вещей или феноменов в неизменном виде. При этом экспертному сообществу приписываются компетенции отличать аутентичные вещи и феномены от неаутентичных. Социолог Дин

Макканнелл в своем исследовании туристической отрасли относит такие практики, как исполнение традиционных танцев или переодевание в исторические костюмы, к «инсценированной аутентичности» [16]. Продукту, который акторы турбизнеса предлагают путешественникам, недостает черт аутентичности уже ввиду особенностей контекста, утверждает Макканнелл. Однако со временем сам процесс реконструкции прошлого для туристов может стать частью культуры и, таким образом, аутентичным. Согласно израильскому социологу Эрику Коэну [10] культуры не являются твердыми, застывшими конструктами, поэтому изменения в культуре влекут за собой также изменение концепта аутентичности. Возможно, туру по виртуальному мемориалу также будет приписана оригинальность и аутентичность в один день, а у оцифрованных пространств возникнет такая же сакральная аура и сообщество почитателей, как это мы уже наблюдаем в сфере видеоигр.

Эффект присутствия

У физического музея кроме сохранения материальных артефактов и их репрезентации существуют также другие функции и дидактические методы, которые сложно перенести в онлайн-формат. Прежде всего это касается способности музея собирать посетителей в одном пространстве и создавать ощущение общности. Взаимное наблюдение посетителей музея как важный метод музейной дидактики и способ влияния музея на своих посетителей исследовал в своей монографии «Рождение музея: история, теория, политика» австралийский социолог Тони Беннетт. В частности, Беннетт отмечает: «В музеях, которые были построены на заказ для выполнения новой общественной функции, снова и снова повторяется один и тот же архитектурный принцип. Взаимосвязь пространства и зрения организована не только для того, чтобы обеспечить беспрепятственный осмотр экспонируемых объектов, но и для того, чтобы посетители могли быть объектами взаимного осмотра друг друга» [8, 51 f] (перевод мой. — Д. Б.). Нахождение посетителей в музее, осуществляющих практики осмотра, изучения, возможно, интроспективного созерцания,

как бы легитимирует знание, представленное в музее, увеличивает его значение и является манифестацией исторической ответственности.

В виртуальной экскурсии или при самостоятельном осмотре оцифрованного пространства музея посетители, напротив, являются представленными самим себе, не имея возможности сопоставить свои реакции с реакцией других посетителей, убедиться в том, что мемориальный музей имеет важное значение, поскольку он полон других посетителей. Участие в групповой экскурсии в физическом музее располагает к тому, чтобы прослушать экскурсию до конца, проявляя уважение к гиду или опасаясь негативной реакции со стороны других участников экскурсионной группы. Подобная групповая мотивация в виртуальном туре отсутствует. Отчасти этим мы можем объяснить тот факт, что посещение виртуальных туров обычно очень ограничено во времени. Так, посетители Виртуального музея ГУЛАГ Онлайн проводят в среднем 3 минуты на сайте, часть людей, сразу же закрывающих сайт, составляет 50 % [12]. Эти данные типичны для онлайн-посещения сайтов. Музеолог Мария Кьяра Чиакери обращает внимание на то, что пользователю онлайн-ресурса сложно удержать внимание более чем на 7–19 минут [9]. Учитывая эти особенности поведения пользователей онлайн, при создании виртуальных музейных экскурсий необходимо чередовать методы подачи и визуальное сопровождение повествования гораздо чаще, чем это принято в традиционных офлайн-турах [Там же]. Некоторые успешные находки в организации и проведении виртуальных экскурсий применил Музей истории ГУЛАГа. Московский музей предлагал своим посетителям экскурсии с гидом в реальном времени на платформах ютуб или зум, например, лайфстрим-экскурсию в Ночь музеев [2]. Особенности этих платформ позволяли видеть других участников и задавать вопросы экскурсоводу через функцию чата. Комментарии, вопросы и споры в чате свидетельствуют о том, что многие участники остались до конца экскурсии.

В затронутом нами контексте взаимного влияния пространства и посетителей интересен казус мемориала Берлинской стены. Берлинский мемориал столкнулся за время

эпидемии с проблемой профанации музейного пространства, вызванной его использованием как места для досуга. В немецкой столице, в отличие от российской, весенний карантин не был столь же строг, и жители Берлина располагали возможностью выходить на улицу. Хотя посещение внутренних помещений мемориала было невозможно, но оставались части мемориала под открытым небом. Территория мемориала планировалась изначально как синтез выставочного пространства и рекреационного, символизирующего победу над разделением, победу обжитого городского пространства над зоной смерти. Однако из-за падения числа посетителей музейного пространства, читающих тексты и слушающих аудиогиды, рассматривающих экспонаты или делающих фотографии экспонатов, мемориальное место стало в целом использоваться как парк [19]. Берлинцы, гуляющие на территории мемориала с детьми или выгуливающие собак, сообщали друг другу своими практиками о профанации сакрально-ритуальной роли мемориала, его превращении в обыкновенную городскую среду.

Мемориал Берлинской стены является одним из образцов того, как исторический нарратив считывается посетителями исторического места при помощи языка архитектуры. Другой берлинский мемориал, широко известный своим архитектурным решением, — Памятник жертвам Холокоста. Мемориал представляет собой пространство, заполненное прямоугольными плитами разной высоты. Проход между плитами должен, по замыслу архитекторов, вызывать у посетителей памятника гамму эмоций: тревогу, одиночество, страх — отголоски того опыта, через который прошли миллионы евреев во времена национал-социализма.

Объединяет упомянутые выше берлинские мемориалы невозможность воссоздать в виртуальном пространстве концепцию, разработанную для физических мемориалов. Идеи и эффект, заложенные в архитектурные формы, полностью раскрываются при задействовании опыта посетителей, находящихся в определенном физическом месте: от контакта посетителей с материалом или наблюдения за другими посетителями. И если создатели немецких мемориалов обладают удачным опытом по созданию физических памятников

и мемориальных пространств, способных влиять на посетителей и на эмоциональном уровне распространять знание об определенном историческом событии, творцам виртуальных мемориалов и туров еще только предстоит сформировать рамки осмысления прошлого в цифровом пространстве. Без сомнения, поиск решения поставленной задачи будет идти параллельно с развитием технологий дополненной реальности.

Важная задача музея — сделать посещение долгосрочным, способствовать тому, чтобы посетитель возвращался еще раз мысленно к увиденному и рефлексировал над своим опытом. Решению этой задачи способствуют фотографии посетителей, сувениры, каталоги и книги, которые можно приобрести

в сувенирной лавке. Могут ли посетители виртуальных мемориальных пространств зафиксировать свой опыт посещения виртуальных мемориалов и рассказать о нем при помощи визуальных образов и вещей? На этот вопрос также предстоит дать ответ создателям и маркетологам виртуальных мемориалов.

Приведет ли расширение музейного и мемориального пространства в онлайн к расширению аудитории? Без конкретных данных мы можем лишь строить предположения, но если расширение мемориального пространства в онлайн-формат и не приведет в музеи новую аудиторию, то существенно расширит дидактические методы и способы хранения информации, а также, возможно, заставит нас существенно пересмотреть определения музея и мемориала.

Список литературы

1. Международный мемориал. Мемориальные программы / Виртуальный музей ГУЛАГа [Электронный ресурс]. URL: <http://old.memo.ru/d/3332.html> (дата обращения: 25.10.2020).
2. Музей истории ГУЛАГа: Онлайн-экскурсия в Музее истории ГУЛАГа : Youtube. 20.06.2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8sGI1r5Fz14> (дата обращения: 25.10.2020).
3. Музей Победы [Электронный ресурс]. URL: <https://victorymuseum.ru/> (дата обращения: 25.10.2020).
4. Ноче В. Спор о новом определении музея привел к кризису в ИКОМ // The Art Newspaper Russia. 20.08.2020 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/8312/> (дата обращения: 25.10.2020).
5. Петров И. Музеи теперь не те, что прежде // The Art Newspaper Russia. 09.08.2020 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/7192/> (дата обращения: 25.10.2020).
6. Фуре В. Н. Ритуал // Новейший философский словарь / под ред. А. А. Грицанова. Минск : Книжный Дом, 2001.
7. Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt a/Main : Suhrkamp, 1963.
8. Bennett T. The Birth of the Museum. History, theory, politics: (Culture: policies and politics). L. : Routledge, 1995.
9. Ciaccheri M. Ch. Do Virtual Tours in Museums Meet the Real Needs of the Public? Observations and Tips from a Visitor Studies Perspective. In Museumnext. 01.06.2020 [Electronic resource]. URL: <https://www.museumnext.com/article/do-virtual-tours-in-museums-meet-the-real-needs-of-the-public-observations-and-tips-from-a-visitor-studies-perspective/> (mode of access: 25.10.2020).
10. Cohen E. Authenticity and Commodification of Tourism // Annals of Tourism Research. 1988. Vol. 15. P. 271–386.
11. Duncan C., Wallach A. The Museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual: An Iconographic Analysis // Marxist Perspectives. N. Y., 1978. Vol. 1 (4). P. 28–51.
12. Gulag Online Virtual Museum Google Analytics 01.01.2020 — 30.06.2020 [Electronic resource]. (Документ находится в личном архиве автора).
13. Gulag Online Virtual Museum. Gulag Online Virtual Museum Opens Its Gates. 10.06.2016 [Electronic resource]. URL: <https://gulag.cz/en/article/gulag-online-virtual-museum-opens-its-gates> (mode of access: 25.10.2020).
14. Gulag Online Virtual Museum [Electronic resource]. URL: www.gulag.online (mode of access: 25.10.2020).
15. Hoffmann D. Authentische Orte // Gedenkstättenrundbrief. 2002. Vol. 110. P. 3–17.
16. MacCannell D. The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. Berkeley : University of California Press, 1999.
17. MDR. Befreiung von Buchenwald: Stilles Gedenken in der Krise. 12.04.2020 [Electronic resource]. URL: <https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/weimar/kz-buchenwald-befreiung-gedenken-mittelbau-dora-100.html> (mode of access: 25.10.2020).
18. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representations. 1989. № 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory. P. 7–24.
19. Mauer-Gedenkstätte leidet unter Corona-Krise. 17.04.2020 [Electronic resource]. URL: https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/mauer-gedenkstaette-berlin-bernauer-strasse-leidet-corona-krise.html (mode of access: 25.10.2020).
20. Saupe A. Authentizität // Docupedia. 25.08.2015 [Electronic resource]. URL: https://docupedia.de/zg/Authentizität%20Version_3.0_Achim_Saupé (mode of access: 25.10.2020).
21. Wallach A. The Museum of Modern Art: The Past's Future // Journal of Design History. 1992. № 5 (3). P. 207–215.

References

1. Mezhdunarodnyi Memorial. Memorial'nye programmy / Virtual'nyi muzei GULAGa [International Memorial. Virtual GULAG Museum]. URL: <http://old.memo.ru/d/3332.html> (mode of access: 25.10.2020).
2. Muzei istorii GULAGa. Onlain Ekskursiya v Muzei Istorii GULAGa [GULAG History Museum. Online Excursion in GULAG History Museum]. Youtube. 20.06.2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8sGI1r5Fz14> (mode of access: 25.10.2020).
3. Muzei Pobedy [The Victory Museum]. URL: <https://victorymuseum.ru/> (mode of access: 25.10.2020).
4. Noche, V. (2020). Spor o Novom Opredelenii Muzeya Privel k Krizisu v IKOM [The Controversy over the New Definition of the Museum Has Led to a Crisis at ICOM]. *The Art Newspaper Russia*. 20.08.2020. URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/8312/> (mode of access: 25.10.2020).
5. Petrov, I. (2020). Muzei Teper' ne Te, Chto Prezhde [Museums Are Not What They Used to Be]. *The Art Newspaper Russia*. 09.08.2020. URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/7192/> (mode of access: 25.10.2020).
6. Fure, V. N. (2001). Ritual [Ritual]. In Gritsanov A. A. *Noveishii Filosofskii Slovar'*. Minsk: Knizhnyi Dom.
7. Benjamin, W. (1963). *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*. Frankfurt-a/m: Suhrkamp.
8. Bennett, T. (1995). *The Birth of the Museum. History, theory, politics (Culture: policies and politics)*. London: Routledge.
9. Ciaccheri, M. Ch. (2020). Do Virtual Tours in Museums Meet the Real Needs of the Public? Observations and Tips from a Visitor Studies Perspective. In *Museumnext*. 01.06.2020. URL: <https://www.museumnext.com/article/do-virtual-tours-in-museums-meet-the-real-needs-of-the-public-observations-and-tips-from-a-visitor-studies-perspective/> (mode of access: 25.10.2020).
10. Cohen, E. (1988). Authenticity and Commodification of Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15, 271–386.
11. Duncan, C., Wallach, A. (1978). The Museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual: An Iconographic Analysis. *Marxist Perspectives*. New York, 1 (4), 28–51.
12. Gulag Online Virtual Museum Google Analytics 01.01.2020 — 30.06.2020. (The document is in the author's personal archive).
13. Gulag Online Virtual Museum. Gulag Online Virtual Museum Opens Its Gates. 10.06.2016. URL: <https://gulag.cz/en/article/gulag-online-virtual-museum-opens-its-gates> (mode of access: 25.10.2020).
14. Gulag Online Virtual Museum. URL: www.gulag.online (mode of access: 25.10.2020).
15. Hoffmann, D. (2002). Authentische Orte. *Gedenkstättenrundbrief*, 110, 3–17.
16. MacCannell, D. (1999). *The Tourist. A New Theory of the Leisure Class*. Berkeley: University of California Press.
17. MDR. Befreiung von Buchenwald: Stilles Gedenken in der Krise. 12.04.2020. URL: <https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/weimar/kz-buchenwald-befreiung-gedenken-mittelbau-dora-100.html> (mode of access: 25.10.2020).
18. Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations*, 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, 7–24.
19. Mauer-Gedenkstätte leidet unter Corona-Krise. 17.04.2020. URL: https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/mauer-gedenkstaette-berlin-bernauer-strasse-leidet-corona-krise.html (mode of access: 25.10.2020).
20. Saupe, A. (2015). Authentizität. In *Docupedia*. 25.08.2015. URL: https://docupedia.de/zg/Authentizitaet%20-%20Version_3.0_Achim_Saupre (mode of access: 25.10.2020).
21. Wallach, A. (1992). The Museum of Modern Art: The Past's Future. *Journal of Design History*, 5 (3), 207–215.

Сведения об авторе

Бутейко Дарья Анатольевна, Dr. Designatus, научный сотрудник Томского государственного университета, г. Томск, Российская Федерация; научный сотрудник Берлинского университета им. Гумбольдта, г. Берлин, Германия

Information about the author

Daria A. Buteiko, Dr. Designatus, Research Associate, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation; Research Associate, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany

УДК 654.197(430) + 94(430) + 374.7 + 070.1:004.032.6

Алексей Викторович Горобий

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: alexogor@mail.ru

Стратегии работы с исторической памятью на телевидении Германии

В статье предпринимается попытка проанализировать роль немецкого телевидения (в ФРГ, ГДР и далее в объединенной Германии) в поддержании и трансляции исторической памяти, в формировании исторического сознания немецкого народа. История телевидения рассматривается в соотношении с историей Германии и ее переосмыслением в рамках социально-политического дискурса во второй половине XX — начале XXI в. Кроме того, уделяется внимание особенностям культуры модерна и постмодерна, обуславливающим определенный взгляд на прошлое. Затрагиваются проблемы диалога между властью и обществом, посредниками в котором выступают средства массовой информации и деятели искусства.

Ключевые слова: Германия, телевидение, память, история, дискурс

Для цитирования: Горобий А. В. Стратегии работы с исторической памятью на телевидении Германии // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 89–96.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Aleksej V. Gorobiy

Tver State University, Tver, Russia

Strategies for Working with Historical Memory in German Television

The article attempts to analyze the role of German television (in the Federal Republic of Germany, the German Democratic Republic and further in the united Germany) in maintaining and broadcasting historical memory, in the formation of historical consciousness of the German people. The history of television is considered in relation to the history of Germany and with its rethinking within the social and political discourse in the second half of the 20th and in the early 21st century. In addition, attention is paid to the peculiarities of the culture of modernity and postmodernity, which determine a certain view of the past. The article also touches upon the problems of dialogue between authorities and society, in which media and arts act as mediators.

Key words: Germany, television, memory, history, discourse.

For citation: Gorobiy, A. V. (2020). Strategii raboty s istoricheskoi pamyat'yu na televidenii Germanii [Strategies for Working with Historical Memory in German Television]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 89–96.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Проблемы телевидения и тележурналистики, как правило, рассматриваются в литературе в практическом ключе — с точки зрения поиска оптимальных моделей функционирования данного средства массовой информации [1, 5, 13, 16]. Между тем более генерализированный взгляд на сущность телевидения подталкивает к рефлексии относительно его роли в духовном развитии общества, в истории и культуре той или иной страны. Телевидение — интернациональное явление XX–XXI вв., и поэтому для более глубокого понимания телевидения своей страны представляется уместным обращение к зарубежным аналогам.

История Германии XX в. со всеми ее драмами и катастрофами поставила перед немецким обществом сложнейшие вопросы формирования, переработки и адаптации исторической памяти: немецкий народ учился (и до сих пор учится) жить со своим прошлым, и важную функцию по работе с исторической памятью выполняют именно СМИ. Эта функция реализуется прежде всего за счет того, что телевидение, как наиболее массовое и влиятельное СМИ, оказывается транслятором единого «национального нарратива», выступающего основой для формирования общественно-исторического дискурса [7, 373]. Тем самым телевидение принимает участие в «дисциплинарной матрице исторической науки», о которой говорит Йорн Рюзен, точнее, в двух ее измерениях — в формировании политической стратегии коллективной памяти и эстетической стратегии поэтики и риторики исторического изображения [3, 68].

В 1950-е гг., в период «немецкого экономического чуда» и послевоенного возрождения западногерманского телевидения, ключевым элементом этого «национального нарратива» был отказ от политики, максимально возможное дистанцирование от коренных проблем прошлого и настоящего. Телевидение предложило зрителям сразу несколько путей такого дистанцирования, которым соответствовали телепередачи нескольких жанров, пользовавшиеся наибольшей популярностью. Во-первых, знаковым событием на телевидении ФРГ 50-х гг. стали прославившиеся на весь мир научно-популярные передачи об окружающем мире — передачи о животных Конрада Лоренца и Бернгарда Гржимека, а также об астрономии

Рудольфа Кюна, в которых зрителю демонстрировался мир, не затронутый человеческими страстями и пороками. Во-вторых, для западногерманского телевидения (как в целом для дискурса) послевоенных лет характерно обращение к немецкой классике. Активное издание словарей немецкого языка, сочинений классических авторов XIX в. и постановка их произведений в виде телеспектаклей связаны с тем, что именно эта часть немецкой культуры воспринималась как незапятнанное национал-социализмом национальное достояние — как островок немецкой культуры, свободный от политики, которым можно гордиться [11, 183]. Как первая («Дас Эрсте ARD», Das Erste ARD), так и вторая («ЦДФ», ZDF) программы телевидения ФРГ (а также австрийское телевидение) начинали свое вещание со студийной постановки «Театрального вступления» из «Фауста» И. Гёте. В-третьих, разумеется, отвлечься от тягостных воспоминаний о войне помогали развлекательные передачи — викторины, кабаре, различные эстрадные выступления, объединявшиеся под рубрикой «Пестрый вечер» (Bunter Abend) [8].

В развлекательных передачах проявляются немаловажные особенности немецкого менталитета. Прежде всего необходимо учитывать, что общественное мнение ФРГ оказывало давление на телевидение, требуя от него выполнения социокультурной, просветительно-воспитательной миссии. Телевидению приходилось отбиваться от упреков в бездуховности и массовизации зрителей [6, 1–3], а присутствие в телеэфире ФРГ импортных (прежде всего американских) развлекательных передач лишь подливало масла в огонь. В результате западногерманские телепродюсеры зачастую прибегали к адаптации импортной продукции, придавая ей образовательные мотивы (по формуле «Две трети развлечения, одна треть просвещения» [21]). Так, телеигры становились более интеллектуальными, документальные расследования преступлений снабжались нравоучениями о необходимости соблюдения законов [7, 44]. Вторая особенность немецкого менталитета заключается в устойчивости традиций общественно-политической сатиры: этот жанр под названием «кабаре» (не путать с французскими увеселительными заведениями) сформировался еще в период Веймарской

республики и возродился на эстраде ФРГ. Популярность кабаре (в лице таких сатирических коллективов, как «Мюнхенское общество смеха и стрельбы», «Дикобразы», «Островитяне», «Чертополох») особым образом сочеталась с отмечавшимся выше дистанцированием от политики: с одной стороны, серьезность немецкого телезрителя, по-видимому, не позволяла ему довольствоваться чисто развлекательными передачами, и тут на помощь приходило кабаре со своей социальной миссией, с другой стороны, высмеивание политических перипетий в кабаре помогало зрителю возвышаться над политикой, раздвигало его горизонты. Считается, что популярности кабаре способствовали и западные оккупационные власти, которые хотели приучить немцев критически относиться к своему правительству и к своей истории [15, 142].

Близость послевоенного западногерманского телевидения к театру проявлялась не только в постановках классических произведений, но и в актуализации традиций «народного театра» (Volkstheater): популярность у телезрителей завоевали постановки театров «Миллович» в Кёльне (особенно первая из них — «Зайцы в тылу»), «Онзорг» в Гамбурге и «Комедийный город» в Мюнхене [20]. В рамках этих постановок на телеэкранах ФРГ демонстрировалась региональная «диалектная» драматургия, начиная со Средних веков (шванки). Однако вместе с проникновением на телеэкраны диалектов происходило и их «размывание»: для понимания аудиториями разных федеральных земель язык спектаклей приходилось адаптировать. В результате телевидение стало в XX в. одним из факторов унификации немецкого языка.

Диалектика общефедеральных и региональных (провинциальных) мотивов на немецком телевидении, сохраняющаяся и поныне, отражает противоречивую историческую миссию телевидения, которое, с одной стороны, всегда выступало инструментом модернизации общества и само развивалось в ногу с техническим прогрессом, а с другой стороны — обеспечивало сохранение и ретрансляцию традиций. Не случайно немецкие теоретики часто сравнивают телевидение с костром или домашним очагом, искони объединявшим людей вокруг своего тепла [7, 275]. Домашний

очаг дает не только чувство единства, но и ощущение защищенности, уюта, а для этого люди должны находиться в окружении привычных им вещей, должны сознавать неизменность устоявшихся ценностей и норм поведения. Все это старается давать им телевидение, которое объединяет общество, но при этом исподволь модернизирует его.

Попытки телевизионного осмысления истории Второй мировой войны начались в конце 1950-х гг. В 1959 г. на экраны вышел первый в ФРГ шестисерийный телефильм «Пока ноги несут» (режиссер Фриц Умгельтер), повествующий о судьбе немецкого военнопленного в Сибири и его бегстве домой через Иран [10]. Этот фильм лег в основу жанра «телероман», характеризующегося смесью злободневности и художественной нарративности (например, при изображении жизни людей на просторах Сибири). Второй исторический телероман, «На зеленом берегу Шпрее», был снят также Фрицем Умгельтером в 1960 г. и представлял собой сборник рассказов людей о событиях войны, в частности, о массовом убийстве евреев в Польше (с хроникальными вставками) [19]. В момент демонстрации этих фильмов западногерманские телезрители более благосклонно приняли первую ленту, но в анналах телевидения более важное место заняла вторая.

Это показательно в том смысле, что западногерманская аудитория болезненно воспринимала напоминания об ужасах нацистского периода. Тенденции к игнорированию недавнего прошлого воспротивились представители «штутгартской школы» документализма: с 1954 г. в эфире «Южнонемецкого телевидения» (SDR) начал выходить цикл Хайнца Хубера «Знаки времени», повествующий о военной истории, — о бундесвере, немецких военнопленных и т. п. Авторы этих документальных фильмов позиционировали себя «как скептических наблюдателей в тот период, когда задачи восстановления страны и “экономическое чудо” норовят вытеснить из памяти людей недавнее прошлое, при том, что авторитарные и милитаристские традиции этого прошлого еще далеко не преодолены» [17]. В 1960-х гг. Хайнц Хубер продолжил свою работу и выпустил в эфир «Дас Эрсте ARD» 14-серийный фильм «Третий рейх» (в сотрудничестве с Гердом Руге, Хансом Хоффом и Вальдемаром Бессоном), немало

способствовавший тому, что общественное мнение ФРГ относительно истории национал-социализма начало меняться — от игнорирования к критическому анализу. Журнал «Шпигель» оценил этот фильм как «самый масштабный урок истории, когда-либо преподносившийся немецким телевидением своему зрителю» [22]. Столь же открыто и остро старались обсуждать проблемы нацистского прошлого и создатели «Панорамы», первого в ФРГ политического тележурнала, выходящего с 1961 г. по сей день (журналисты Рюдигер Проске, Герт фон Пашенски и др.).

В 1965 г. на канале «Дас Эрсте АРД» вышел телефильм «Один день» режиссера Эгона Монка, в котором показана горькая участь обитателей концентрационного лагеря, резко контрастировавшая с беззаботным существованием немцев в городках поблизости от него. Для Монка характерен взгляд на нерешенные социальные проблемы, лишенный всякой сентиментальности: он постоянно апеллирует к телезрителю, к его исторической памяти, совести и чувству ответственности за жестокие страницы прошлого [7, 434]. В 1970-х гг. свой оригинальный документальный стиль выработал другой режиссер, Эберхард Фехнер, производивший фильмы для нескольких региональных отделений «АРД». В его картинах «Охраняемые памятники», «Даты жизни», «Комедийные музыканты», «Процесс» воссоздана широкая панорама немецкой истории с точки зрения жизни простых людей и их менталитета. При этом Фехнеру удавалось соблюдать тонкий баланс между документальностью и вымыслом, избегая искажений и приукрашиваний [12]. Вниманием к психологии отмечен и знаменитый фильм режиссера Вольфганга Петерсена «Подводная лодка» о сражениях в Атлантике во время Второй мировой войны. По принципу гибкого реагирования на предпочтения аудитории фильм был создан в двух версиях (короткой для кинотеатров и длинной для телеэкранов).

Иной подход к работе с исторической памятью присущ каналу «ЦДФ». Если «Дас Эрсте АРД» был всегда ближе к партии СДПГ и придерживался критического, открытого взгляда на общество, то тяготеющий к ХДС/ХСС канал «ЦДФ» старался представить телезрителям реальность в несколько лакированном,

провинциально-буржуазном стиле. В соответствии с этим телефильмы на «Дас Эрсте АРД» были и остаются направленными на разоблачение социальных пороков, на провоцирование и просвещение телезрителей, в то время как канал «ЦДФ» разработал особый документально-художественный смешанный жанр, нацеленный на сенсационность и создание «иллюзии исторической правды» (например, на то, чтобы телезритель почувствовал, что он сам находится в кабинете кайзера Вильгельма II или лично встретил царя Николая II) [18, 97]. Таковы историко-публицистические циклы «Под немецкими крышами» и «Люди и улицы», созданные в 1980-е гг. и отличающиеся значительной долей авторской субъективности при трактовке исторических реалий (в духе телевизионной эссеистики). Историко-документальную школу «ЦДФ» можно рассматривать как порождение рыночной конкуренции и борьбы за рейтинги, однако представляется, что несколько лакированный взгляд на историю — это характерное явление культур модерна и постмодерна с их тенденциями к «самоисторизации» [4, 43] и постоянному «воскрешению» прошлого в настоящем.

В ГДР принципы трактовки исторического материала на телевидении существенно отличались от того, что имело место в ФРГ. Эти отличия диктовались в первую очередь идеологической обстановкой: восточногерманское телевидение следовало официальной линии СЕПГ и поэтому значительная часть немецкого культурного наследия до 1945 г. отвергалась по классовому критерию. Однако на телевидении ГДР были и такие явления, которые выбивались из общей идеологической канвы, они оставили яркий след в анналах мировой журналистики. Прежде всего это документальная школа Вальтера Хайновски и Герхарда Шоймана (1960-е гг.), отличавшаяся тем, что эти журналисты не обличали классовых противников, а давали им самим слово, будь то западные политики, американские солдаты во Вьетнаме или африканские вожди [9].

Стратегия развития восточногерманского телевидения поменялась в 1970-е гг., когда вместо Вальтера Ульбрихта во главе СЕПГ встал Эрих Хонеккер, и, в соответствии с разницей во взглядах этих политиков, телевидение ГДР вместо активной пропаганды

социально-политических проектов перешло к более прагматичной линии, направленной на развлечение телезрителей и поддержание в них «любви к Родине». Согласно этой линии на первый план на восточногерманском телевидении вышел жанр телесериалов (телероманов), полюбоившихся телезрителям за то, что они помогали им отвлечься от бытовых забот и переносили их в красивые вымышленные миры. Многие из сериалов, созданных в ГДР в 1970–1980-е гг., были действительно на высоком уровне: например, исторические фильмы «Шарнхорст» и «Блеск Саксонии и слава Пруссии». Оба фильма преследовали амбициозную цель — переосмыслить историю Пруссии как основу для истории ГДР. В частности, в фильме «Шарнхорст» сделана попытка рассмотреть и гармонизировать два лика Пруссии — королевско-милитаристский и рабоче-крестьянский. Не отклоняясь от исторических фактов, режиссер Вольф-Дитер Панзе и сценарист Ханс Пфайфер показали прогрессивность реформ фон Штайна, Шарнхорста и Гнайзенау и их частичную неудачу в консервативной атмосфере первой половины XIX в. Тот факт, что в этом фильме подчеркивался союз Пруссии с Россией против Наполеона, заслужил одобрение партийных властей.

Иной подход к исторической драматургии обнаруживает знаменитый фильм режиссера Ханса-Йоахима Каспржака и сценариста Альбрехта Бёрнера «Блеск Саксонии и слава Пруссии»; в нем основой сюжета выступают не мировые политические события, а придворные интриги, за счет чего исторические персонажи предстают в очень личном, интимном свете. Этот фильм, выдержанный в духе «сентиментализации истории», вызвал большой резонанс и в Западной Германии: после объединения двух государств он был не раз показан по общегерманскому телевидению.

Попытки восточногерманских сценаристов и режиссеров вписать историю Пруссии в историю ГДР, найти между ними преемственность и, наоборот, отграничить ее от истории ФРГ — показательный образец того, что историческое сознание — самоорганизующаяся система, стремящаяся к целостности. Как отмечают исследователи, эта целостность имеет «развивающийся» характер, она эволюционирует

в зависимости от изменяющихся культурных детерминант и тем не менее обеспечивает преемственность культуры [2, 163]. В данном случае социалистические реалии объективно обнаруживали резкий контраст по отношению к предыдущей истории Германии, однако в рамках общественного дискурса ГДР предпринимались настойчивые попытки «легитимировать» эти новые реалии посредством исторической преемственности.

Смягчение идеологии при Хонеккере проявилось и в других исторических телефильмах. Картина «Бебель и Бисмарк» противопоставляет две основные фигуры классовой борьбы в Германии XIX в., но при этом отдается дань заслугам Бисмарка в деле объединения Германии. Если говорить о средневековой истории Германии, то в 1950-х гг., при Ульбрихте, Томас Мюнцер, в противовес Мартину Лютеру, представлялся главным героем Реформации и вождем крестьянского движения. В 1983 г., напротив, к юбилею Лютера был подготовлен телефильм, подчеркивающий его заслуги в религиозных войнах.

О более либеральном климате свидетельствуют, например, экранизация «Декамерона» Джованни Бокаччо и сотрудничество со швейцарским телевидением при съемках фильма «Урсула». Однако либеральность восточногерманского телевидения зашла не слишком далеко, и фильм «Урсула» был запрещен из-за присутствия в нем откровенных сцен, а также из-за идеологического подтекста: картина повествовала о религиозных войнах в Германии, когда народ оказывался игрушкой в руках фанатиков, однако в этом можно было увидеть параллели и с сегодняшним днем [7, 272].

Отчасти вклад телевидения (как в Западной, так и в Восточной Германии) в актуализацию культурно-исторической памяти немецкого народа проявлялся и в показе старых кинофильмов, активно начавшемся в 1960-х гг. До этого кинематограф во многом воспринимался как искусство без истории: люди смотрели новые фильмы в кинотеатрах, а старые постепенно забывались. Теперь же телевидение стало формировать представление об истории кино, а через просмотр старых фильмов у зрителей формировалось и более наглядное представление об истории, о недавнем и отдаленном прошлом.

Если же говорить о современном этапе развития телевидения в объединенной Германии с точки зрения поддержания исторической памяти, то необходимо отметить прежде всего Европейскую культурную программу «Арте» (Arte), которую в 1992 г. создали телеканалы «АРД» и «ЦДФ» вместе с французскими коллегами. «Арте» специализируется на сохранении и популяризации общеевропейских культурных традиций, исследовании архивных и музейных фондов, восстановлении старых кинолент и т. п. Интересен «тематический» подход данного телеканала к построению сетки вещания: из взаимосвязанных отдельных передач (особенно в специальные тематические вечера) должно возникать цельное «телевизионное произведение искусства» [14, 325].

История немецкого телевидения XX–XXI вв. отражает процесс взлета и упадка культуры модерна. Телевидение раздвинуло горизонты и предложило людям многообразие взглядов на мир, оно внесло вклад в преодоление европоцентризма, наглядно показав, как живут народы в разных уголках мира. В социальном плане телевидение стало воплощением таких сторон эпохи модерна, как формирование массового общества (во многом скрепленного потреблением единой телевизионной продукции), индивидуализация (проведение досуга в одиночестве или в кругу семьи), технический прогресс и рост благосостояния (символом чего стало обладание телевизором). В свою очередь, как мы видим на примере Германии, в конце XX — начале XXI в. просмотр телепередач стал, в сущности, постмодерновой ситуацией, атрибутом эпохи постмодерна: умножение числа конкурирующих телеканалов, появление пульта дистанционного управления и интеграция телевидения с сетью Интернет превратили телевидение в случайную мозаику смысловых единиц и эмоциональных образов, дающую телезрителю (иллюзорную) автономность и свободу выбора. На обоих этапах — и на этапе расцвета модерна, и на этапе перехода к постмодерну — телевидение вносило существенный вклад в формирование исторической памяти немецкого народа: в послевоенные годы оно давало людям чувство сплоченности вокруг телеэкрана как «нового домашнего очага», представляло им мир как прочный и понятный, а с конца XX в. погрузило человека

в постмодернистский калейдоскоп смыслов, в котором «раны прошлого» релятивируются и забываются. Постмодернистская модель современного телевидения (с множеством каналов, между которыми зрители порой хаотично переключаются) влечет размывание целостности исторического сознания: элементы прошлого, обрывки традиций и исторического нарратива актуализируются телепередачами, но медийная опосредованность и фрагментарность этой актуализации приводят скорее не к поддержанию исторической памяти, а к тому, что фрагменты истории становятся компонентами настоящего.

Подводя итоги, можно выделить несколько стратегий работы с исторической памятью на немецком телевидении. Во-первых, следует отметить школу критического документализма на канале «Дас Эрсте АРД», представители которой стремятся к максимально объективному, неприукрашенному отображению проблем прошлого и настоящего. Во-вторых, трактовка исторического материала на телевидении ГДР при всех идеологических особенностях подчас давала весьма интересные, оригинальные результаты, свидетельство чему — фильмы «Блеск Саксонии и слава Пруссии», «Урсула» и творчество В. Хайновски и Г. Шоймана. Наконец, доминирующим постепенно стал подход, заключающийся в смешении элементов художественности и документальности, изначально присущий каналу «ЦДФ», но сейчас отмечающийся и на «Дас Эрсте АРД» (например, в недавнем фильме «Гладбек», воспроизводящем печально известную историю захвата заложников в ФРГ в 1988 г.). Данный подход ставит во главу визуальную выразительность и развлекательный компонент при отображении прошлого, тем самым на второй план отходит задача формирования у аудитории подлинной исторической памяти и правдивого исторического сознания. В документально-художественных исторических телепередачах и фильмах возрастает доля авторской субъективности, а значит, и у телезрителя формируется субъективный взгляд на прошлое, обусловленный отчасти своими эмоциями при просмотре, отчасти — той стереотипной, отретушированной (в интересах рынка) картиной истории, которая ему преподносится. В некоторой степени данный подход

является глобальным веянием; не случайно коммерческие немецкие телеканалы («РТЛ», «Сат.1»), тяготеющие к импортной продукции, делают свои исторические телепередачи еще более развлекательными, чем «Дас Эрсте АРД» и «ЦДФ».

Список литературы

1. Вартанова Е. Л. Теория медиа: отечественный дискурс. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2019.
2. Линченко А. А. Целостность исторического сознания: Введение в исследование проблемы. Липецк ; Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2010.
3. Линченко А. А. Целостность исторического сознания: вопросы истории и методологии. Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2014.
4. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем : пер. с нем. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016.
5. Муратов С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2019.
6. Anders G. Die Antiquiertheit des Menschen. München : Verlag C. H. Beck, 1961.
7. Beck K. Das Mediensystem Deutschlands: Strukturen, Märkte, Regulierung. 2. Aufl. Wiesbaden : Springer VS, 2018. XVI.
8. Der „Bunte Abend“ — Wortwitz und zirzensische Attraktionen // Bundeszentrale für politische Bildung. 30.08.2012 [Electronic resource]. URL: <https://www.bpb.de/143167/der-bunte-abend> (mode of access: 16.07.2020).
9. Einst weltberühmt: Heynowski und Scheumann // MDR Zeitreise. 22. Juni 2018 [Electronic resource]. URL: <https://www.mdr.de/zeitreise/heynowski-scheumann-100.html> (mode of access: 15.07.2020).
10. Fischer S. Falsche Nachkriegserinnerungen — Der Schnee von gestern // Süddeutsche Zeitung. 23. März 2010 [Electronic resource]. URL: <https://www.sueddeutsche.de/kultur/falsche-nachkriegserinnerungen-der-schnee-von-gestern-1.12263> (mode of access: 15.07.2020).
11. Grotlischen A. Politische Grundbildung — Theoretische und empirische Annäherungen // Zeitschrift für Weiterbildungsforschung. Report. 2016. S. 183–203.
12. In Erinnerung an Eberhard Fechner: „Der Prozess“ // NDR. 17.10.2016 [Electronic resource]. URL: <https://www.ndr.de/geschichte/In-Erinnerung-an-Eberhard-Fechner-Der-Prozess,portraet408.html> (mode of access: 15.07.2020).
13. Jäckel M. Medienwirkungen kompakt: Einführung in ein dynamisches Forschungsfeld. 2, überarbeitete und aktualisierte Aufl. Wiesbaden : Springer VS, 2019. XI.
14. Kleinsteuber H., Rossmann T. Europa als Kommunikationsraum: Akteure, Strukturen und Konfliktpotentiale in der europäischen Medienpolitik. Opladen : Leske + Budrich, 1994.
15. Lehnert S. Die Kino-Wochenschau als generischer Sonderfall: Von Reportage bis Kabarett // Mediale Dispositive / Hrsg. von I. Ritzer, P.W. Schulze. Wiesbaden : Springer VS, 2018. S. 135–150.
16. Moj D. Fernsehjournalismus. 2, völlig überarb. Auflage. Konstanz [et al.] : UVK-Verl.-Ges., 2016.
17. Politische Welterkundung // Bundeszentrale für politische Bildung. 30.08.2012 [Electronic resource]. URL: <https://www.bpb.de/142903/politische-welterkundung> (mode of access: 15.07.2020).
18. Rohrbach G. Haben Fernsehspiele noch Zukunft? // Millionenspiele — Fernsehbetrieb in Deutschland / Hrsg. von Th. van Alst. München : Ed. Text + Kritik im Richard-Boorberg-Verlag, 1972. S. 93–98.
19. Schmid H. Scheener Herr aus Daitschland // Telepolis. 23. Juli 2011 [Electronic resource]. URL: <https://www.heise.de/tp/features/Scheener-Herr-aus-Daitschland-3390037.html> (mode of access: 15.07.2020).
20. Volkstheater und Familiengeschichten // Bundeszentrale für politische Bildung. 28.08.2017 [Electronic resource]. URL: <https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und-west/245576/volkstheater-und-familiengeschichten> (mode of access: 15.07.2020).
21. Wagner S. Bernhard Grzimek // Planet Wissen. 19.07.2019 [Electronic resource]. URL: https://www.planet-wissen.de/natur/tier_und_mensch/zoos/pwiebernhardgrzimek100.html (mode of access: 15.07.2020).
22. Zwölf Jahre in zwölf Stunden // Der Spiegel. № 45. 02.11.1960 [Electronic resource]. URL: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43067297.html> (mode of access: 15.07.2020).

References

1. Vartanova, E. L. (2019). *Teoriya media: otechestvennyi diskurs* [Theory of Medias: Social Discourse]. Moscow: Moscow University Press.
2. Linchenko, A. A. (2010). *Tselostnost' istoricheskogo soznaniya: Vvedenie v issledovanie problemy* [Integrity of Historical Consciousness: An Introduction into Investigating the Problem]. Lipetsk; Tambov: Pershin's Publishing House.
3. Linchenko, A. A. (2014). *Tselostnost' istoricheskogo soznaniya: voprosy istorii i metodologii* [Integrity of Historical Consciousness: Questions of History and Methodology]. Voronezh: The Voronezh State Pedagogical University.
4. Lübbe, H. (2016). *V nogu so vremenem. Sokrashchennoe prebyvanie v nastoyashchem* [Keeping Pace with the Time. A Shortened Presence in the Presence]. Moscow: Higher School of Economics Press.
5. Muratov, S. A. (2019). *Televizionnaya zhurnalistika. Televidenie v poiskakh televideniya* [Journalism at the Television. The Television in the Search of Itself]. Moscow: Jurait.

6. Anders, G. (1961). *Die Antiquiertheit des Menschen*. München: Verlag C. H. Beck.
7. Beck, K. (2018). *Das Mediensystem Deutschlands: Strukturen, Märkte, Regulierung*. 2. Aufl. XVI. Wiesbaden: Springer VS.
8. Der „Bunte Abend“ — Wortwitz und zirkensische Attraktionen. In *Bundeszentrale für politische Bildung*. 30.08.2012. URL: <https://www.bpb.de/143167/der-bunte-abend> (mode of access: 16.07.2020).
9. Einst weltberühmt: Heynowski und Scheumann. (2018). In *MDR Zeitreise*. 22. Juni. URL: <https://www.mdr.de/zeitreise/heynowski-scheumann-100.html> (mode of access: 15.07.2020).
10. Fischer, S. (2010). Falsche Nachkriegserinnerungen — Der Schnee von gestern. In *Süddeutsche Zeitung*. 23. März. URL: <https://www.sueddeutsche.de/kultur/falsche-nachkriegserinnerungen-der-schnee-von-gestern-1.12263> (mode of access: 15.07.2020).
11. Grotlüschen, A. (2016). Politische Grundbildung — Theoretische und empirische Annäherungen. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung*, Report, 183–203.
12. In Erinnerung an Eberhard Fechner: „Der Prozess“ (2016). In *NDR*. 17.10.2016. URL: <https://www.ndr.de/geschichte/In-Erinnerung-an-Eberhard-Fechner-Der-Prozess,portraet408.html> (mode of access: 15.07.2020).
13. Jäckel, M. (2019). *Medienwirkungen kompakt: Einführung in ein dynamisches Forschungsfeld*. 2, überarbeitete und aktualisierte Aufl. XI. Wiesbaden: Springer VS.
14. Kleinstеuber, H., Rossmann, T. (1994). *Europa als Kommunikationsraum: Akteure, Strukturen und Konfliktpotentiale in der europäischen Medienpolitik*. Opladen: Leske + Budrich.
15. Lehnert, S. (2018). Die Kino-Wochenschau als generischer Sonderfall: Von Reportage bis Kabarett. In *Mediale Dispositive* / Hrsg. von I. Ritzer und P. W. Schulze, 135–150. Wiesbaden: Springer VS.
16. Moj, D. (2016). *Fernsehjournalismus*. 2, völlig überarb. Aufl. Konstanz [et al.]. UVK-Verlag.
17. Politische Welterkundung (2012). In *Bundeszentrale für politische Bildung*. 30.08.2012. URL: <https://www.bpb.de/142903/politische-welterkundung> (mode of access: 15.07.2020).
18. Rohrbach, G. (1972). Haben Fernsehspiele noch Zukunft? In *Millionenspiele — Fernsehbetrieb in Deutschland* / Hrsg. von Th. van Alst, 93–98. München: Ed. Text + Kritik im Richard-Boorberg-Verlag.
19. Schmid, H. (2011, 23 Juli). Scheener Herr aus Daitchland. In *Telepolis*. URL: <https://www.heise.de/tp/features/Scheener-Herr-aus-Daitchland-3390037.html> (mode of access: 15.07.2020).
20. Volkstheater und Familiengeschichten (2017). In *Bundeszentrale für politische Bildung*. 28.08.2017. URL: <https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und-west/245576/volkstheater-und-familiengeschichten> (mode of access: 15.07.2020).
21. Wagner, S. (2019, 19 July). Bernhard Grzimek In *Planet Wissen*. URL: https://www.planet-wissen.de/natur/tier_und_mensch/zoos/pwiebernhardgrzimek100.html (mode of access: 15.07.2020).
22. Zwölf Jahre in zwölf Stunden (1960). In *Der Spiegel*, 45. URL: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43067297.html> (mode of access: 15.07.2020).

Сведения об авторе

Горобий Алексей Викторович, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета, г. Тверь, Российская Федерация

Information about the author

Alexey V. Gorobiy, Cand. Hist. (Eng.), Lecturer at the Subdepartment for Journalism, Advertisement and PR, Tver State University, Tver, Russian Federation

УДК 82-94 + 94:159.953 + 32.019.51

Котова Анастасия Викторовна

*Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины,
Санкт-Петербург, Россия*

E-mail: anastakot@gmail.com

«Энеида» Вергилия в политике и культуре эпохи принципата Августа

В статье рассматривается вопрос формирования исторической памяти в эпоху принципата Августа. Показано, что впервые в истории Античности литература сознательно и продуманно используется как средство официальной идеологии. Демонстрируется отражение событий исторической эпохи Вергилием, современником и участником которой он был. Делается вывод о связи использования средств высокого искусства в целях политической пропаганды с формированием образов прошлого в историческом сознании общества.

Ключевые слова: историческая память, Вергилий, Энеида, принципат, Август, идеология, пропаганда

Для цитирования: Котова А. В. «Энеида» Вергилия в политике и культуре эпохи принципата Августа // *Tempus et Memoria*. 2020. Т. 1. № 1–2. С. 97–102.

Поступила в редакцию: 31.08.2020

Принята к печати: 30.10.2020

Anastasia V. Kotova

Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, Saint-Petersburg, Russia

Virgil's "Aeneid" in Politics and Culture of the Augustan Principate

The article deals with the formation of historical memory in the era of the Augustan Principate. It is shown that for the first time in the history of antiquity literature is consciously and thoughtfully used as a means of official ideology. It demonstrates the reflection of the events of the historical era by Virgil, a contemporary and participant of which he was. It is concluded that the use of high art tools for political propaganda is connected with the formation of images of the past in the historical consciousness of society.

Key words: historical memory, Virgil, Aeneid, Principate, Augustus, ideology, propaganda.

For citation: Kotova, A. V. (2020). «Eneida» Vergiliya v politike i kul'ture epokhi printsipata Avgusta [Virgil's "Aeneid" in Politics and Culture of the Augustan Principate]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 97–102.

Submitted: 31.08.2020

Accepted: 30.10.2020

Историческая память является неотъемлемой частью культуры общества и находит выражение в различных формах. В современных гуманитарных исследованиях историческая память рассматривается как сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением исторических событий и исторического опыта, реального или воображаемого [9, 10]. Сопоставление и анализ способов представления исторического прошлого позволяет выделить две основные модели — эпос и хронику. Эпические произведения, повествующие о деяниях и подвигах героя, рассчитаны на эмоциональное восприятие слушателя или читателя. В хронике, задача которой заключается в описании и регистрации события, передача сообщения носит информативный характер.

Историческая память не только один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида и общества в настоящем, которая дает ему чувство прошлого и определяет его устремления на будущее. Образы событий, запечатленные коллективной памятью «в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов, выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях» [Там же, 22]. Одновременно с этим историческая память рассматривается как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях.

Важным средством проведения тех или иных идей в массах является искусство. Порожденное обществом, искусство имеет своей целью в соответствии с общественными интересами способствовать формированию духовного облика человека, воздействуя на его мысли и чувства, изменять ценностные ориентации и стиль жизни.

Влияние искусства на социальную память определяется эмоциональным воздействием художественных образов на внутренний мир человека, при котором историческое содержание и социальный смысл произведения как бы воссоздаются воспринимающим его человеком по ориентирам, задаваемым автором [11, 58].

Анализ духовных явлений с точки зрения их роли в жизни прошлого позволяют охарактеризовать идеи и ценностные установки

минувшего во взаимосвязи с обстоятельствами, их породившими, понять конкретные действия, мотивированные этими культурными ориентирами [9, 5].

Античная цивилизация сохранила до нашего времени уникальные материалы для изучения традиций исторической памяти, оценки ее роли в жизни общества. Среди ценностей античной культуры литературе принадлежит почетное место. Сохранившиеся письменные памятники отражают взгляды, предпочтения и систему ценностей их авторов и являются источниковой базой для изучения исторической культуры Античности.

Литература эпохи Августа, достигшая своего расцвета в этот период, может существенно расширить наши представления о методах политической пропаганды принципата, «охраняющих полезные для субъектов идеологии смыслы и интерпретации исторических событий» [3, 248].

Принципат как особая форма политической власти, пришедший на смену сенатской республике, представлял собой «феномен органичного сочетания двух начал: монархического и республиканского, воплощавшего в себе вековые традиции Рима-полиса», который «обеспечил римскому рабовладельческому обществу безопасность, правопорядок и уверенность в завтрашнем дне» [1, 18].

Экономические и политические изменения в результате «великих завоеваний» вызвали важные изменения в духовной жизни римлян. Упадок нравов в римском обществе традиционно связывается с массовым распространением такого явления, как роскошь [2, 87], с которой римляне познакомились во время войн в Греции и на Востоке. Чужеземные нравы, богатство, роскошь и связанный с ними новый стиль жизни стимулировали рост индивидуализма, разложение традиционных норм поведения и ценностей. Новые тенденции, появившиеся в результате превращения Рима в великую державу, были столь серьезны, что требовали коренных изменений в обществе.

Исследователи истории Рима отмечают небывалый масштаб пропаганды идеологии этого периода, многообразие способов и форм ее проведения в литературной и государственной деятельности. Римская литература эпохи принципата оказалась особенно важной для

Нового времени. Выделение индивидуума из общества, формирование индивидуалистического восприятия, мышления и слова наполняли внутренним содержанием литературу эпохи принципата Августа и делали ее важным инструментом пропаганды.

Историю принципата начали писать одновременно с его зарождением. Известно, что сам Август на протяжении всей жизни занимался активной литературной деятельностью; его воспоминания «О своей жизни», которые содержали описания и историю гражданских войн, а также «событий, приведших Августа к власти, с точки зрения самого Августа», оценки, «которые он хотел закрепить в сознании современников и в памяти последующих поколений» [12, 136], должны были представлять особенный интерес, но воспоминания принцепса до нашего времени не сохранились, о них мы узнаем лишь из текстов иных авторов.

Источниками, которые дошли до нас непосредственно от современников Августа, являются произведения римских авторов, в первую очередь Вергилия и Горация. Именно выдающиеся поэты, по мнению Августа и его окружения, могли представить новый порядок вещей в самом выгодном для режима принципата освещении [4, 10]. Поставив своей задачей возродить добрые старые нравы, восстановить угасшее благочестие, Август выдвинул лозунги *Virtus, pietas, iustitia, clementia* («Доблесть, благочестие, справедливость, милосердие»), под которыми проводился новый курс Римской империи.

«Можно разное думать о мотивах, по которым Гораций, Вергилий, Проперций, даже Овидий сделались глашатаями мыслей Августа и певцами его божественности» [5, 115]. Этот вопрос в науке до сих пор остается дискуссионным. Некоторые исследователи предполагают здесь личные мотивы творчества, другие считают, что поэты искренне верили в способность Августа установить мир и безопасность, возродить пришедшее в упадок государство, а новый строй, «осмысленный и опозитивированный, был продуман и выстрадан ими как современниками его рождения и участниками его создания» [10, 113].

Принятие нового строя и его идеологических принципов побуждало Вергилия создать

единое по мысли произведение, посвященное историческим судьбам римского народа. Выполнения этой задачи требовали Август и Меценат. Величие римской истории было, по концепции Вергилия, неразрывно связано с торжеством Августа, и золотой век осуществился наконец в Италии через его деяния. Даже недавняя история приобретала особый смысл и значительность, так как вела к этой конечной цели. Исторические события поэт считает непосредственным продолжением мифологических, ставит их в один ряд и воспринимает как священную и нормативную историю всего народа [7, 23].

Римляне всегда идеализировали свое прошлое и окружали его ореолом непреложного авторитета. Реставрационный характер политики Августа наталкивает поэта на мысль воспеть подвиги римского народа и его вождей в образах мифологических героев, показать, как в поступках людей, руководимых богами, осуществлялась историческая неизбежность.

Для того чтобы воспеть судьбы Рима и личность Августа, поэт выбрал миф о древнейшей истории Лациума, связанный с именем троянского героя Энея. Необыкновенный успех, которым «Энеида» пользовалась у римлян, обуславливался главным образом удачным выбором сюжета поэмы. Легенда об Энее получила в Риме признание еще в эпопее Невия, относящейся к III в. до н. э. Римляне вели свое происхождение от Энея, и на этом основании утверждалась связь между двумя великими народами, а также обосновывалось право римлян на владычество над Востоком. Во время принципата миф об Энее приобрел актуальность, так как род Юлиев, к которому через Цезаря принадлежал и Август, возводил свою родословную к богине Венере, матери Энея. Обожествление Августа, таким образом, приобретало основу в мифе, и его «сверхъестественную природу готовы были признать многие сограждане» [6, 37].

В судьбах Энея и его спутников Вергилий олицетворил не только зачатки римского народа, но и начало дома Юлиев, достигшего высшей ступени славы и могущества в личности императора Августа. Вместе с тем в своих героях поэт изображает идеалы чисто римского духа, благочестивое отношение к богам и беззаветную храбрость.

На Энея возложена историческая миссия — основание латинского государства, которую герой выполняет через борьбу и преодоление различных препятствий, как внутренних, кроющихся в человеческой натуре, так и внешних, заключающихся в завоевании и подчинении врагов. Осознание этой миссии приходит к Энею по сложному пути подавления личной воли, страстей и стремлений.

Успех Энея объясняется вмешательством божественных сил, этим же объясняются его неудачи. Главное свойство Энея — благочестие (*pietas*), которое проявляется и в отношении своего отца, и в отношении божеств, и в соблюдении религиозных обрядов. Благочестивый Эней является тем идеальным римлянином, который должен был служить примером для подражания, и Вергилий, характеризуя героя, использует постоянный эпитет *pius* (I, 377; V, 783; VI, 783). «Энеида» является лучшим источником для определения официального понимания термина *pietas* эпохи Августа как политического лозунга нового режима. В понятии *pius* объединяются заботливый семьянин, искренний почитатель старых богов и лояльный член общества, послушный велениям божества. Мужество и благочестие (*virtus et pietas*), проповедуемые Августом, — важнейшие моральные качества, которыми должен обладать идеальный гражданин [5, 570].

Традиционный эпический материал поэт располагает по заимствованной у Гомера схеме. Изображая в шести первых книгах странствования Энея, а в шести последних — его битвы за обладание завещанным судьбою царством Италии, поэт стремится соединить отличительные свойства «Илиады» и «Одиссеи» в одно произведение. Источниками для первой части служил Гомер, греческие трагедии и эпика, подробно разработавшие цикл сказаний о Троянской войне. Несравненно труднее было справиться Вергилию со второй частью поэмы, где действие переносится на почву Италии. Здесь весь эпический материал ограничивался исследованиями археологов и небогатыми местными преданиями. Остальное предоставлялось собственному изобретению и литературному таланту Вергилия. Он сумел найти не только значительную часть содержания, но и придать поэме особенный интерес в глазах современников.

Наряду со множеством приемов, характерных для гомеровских поэм, поэт использует пророчества, в которых мифологические легенды переплетаются с историческим прошлым. Эти же пророчества о судьбах, уже совершившихся ко времени автора, составляли литературный прием, принадлежавший Вергилию, но чуждый Гомеру, и дали автору «Энеиды» возможность представить полную историю римского народа и исполнить до некоторой степени данное им Августу обещание — воспеть его военные подвиги и прославить его имя в веках (Georg. III, 46–48).

В первой книге из пророчества Юпитера (Aen. I, 286–288) читатель узнает, что «Цезарь будет рожден троянцем высокого происхождения, который ограничит свою власть Океаном, славу — звездами; Юлий — имя, ниспосланное от великого Юла». В связи с его появлением наступит вожделенный мир, навсегда прекратятся братоубийственные распри, настанут справедливые времена.

В шестой книге поэмы повествуется о том, как Эней спускается в подземное царство для свидания со своим отцом. Преданностью отцу, выдающейся сыновней любовью, верностью и благочестием заслужил Эней это недоступное другим смертным право — свидеться с умершим в загробном мире. Здесь же содержится обширное и важное для концепции поэмы пророчество Анхиза, который показывает Энею его потомков, будущих великих царей, правителей и государственных деятелей Рима, составивших его славу. Здесь же подчеркивается роль Августа Цезаря, который водворит золотой век и покорит весь мир; утверждается неизбежность мирового господства Рима как логический результат всего хода истории (VI, 791–805): «Этот муж, вот он, которого, ты часто слышишь, тебе обещают, Август Цезарь, божественный родом, который снова установит золотой век в Лации на пашнях, некогда управляемых Сатурном, расширит власть за [земли] гарамантов и индов (владения простираются вне небесных светил, вне дорог года и солнца, где держащий небо Атлант на плече вращает свод, усеянный горящими звездами); уже сейчас каспийские царства и меотийский край страшатся прорицаний богов о его приходе, и волнуются, бурля, устья семируканного Нила. Ни Алкид

не обошел столько земель, хотя и сразил медноногую лань, сделал мирными леса Эриманфа и утратил лук Лерну; ни Либер, который, будучи победителем, направляет ярмо поводами из виноградных листьев, гоня тигров с самой вершины Нисы».

Анхиз пророчески говорит сыну о будущем Рима. Тогда как другие народы прославятся искусствами и науками, у римлян будет другое искусство — править миром (VI, 851–853), причем власть эта будет безгранична во времени и пространстве.

В восьмой книге поэт дает образное описание щита Энея, который был изготовлен Вулканом по просьбе Венеры. В этом фрагменте Вергилий описывает выдающиеся события римской истории и в особенности подвиги Августа, прославлению которого поэт посвящает пятьдесят стихов (VIII, 676–729), отмечая, что Октавиан в этой войне был вождем всей Италии (VIII, 678–679).

Поэма содержит выразительные портреты отдельных людей, через которые не только высказывается отношение к той или иной проблеме, но и раскрывается богатство человеческой жизни. Вместе с тем большинство спутников и товарищей Энея маловыразительны, это только имена, лишённые человеческого облика. И это не случайно. Складывавшееся в эпоху принципата мировоззрение требовало

выделения лишь одной личности. Возвышение Энея над спутниками должно было быть полным и безграничным, оно соответствовало месту Августа в современном ему обществе [7, 44].

Известно, что Вергилий придавал большое значение своей поэме. Он работал над ней десять лет, вплоть до самой смерти, и считал, что для окончательного завершения ему нужно еще три года. Он завещал друзьям уничтожить незаконченное произведение, но Август, придававший «Энеиде» большое политическое значение, не позволил этого, а, напротив, способствовал ее публикации и широкому распространению.

Идея истории, образы прошлого, составляющие важную часть общественного сознания и групповой идентичности, могут служить политическим целям, формируя специфическую матрицу восприятия происходящего и выполняя функцию социальной ориентации [8, 12].

Воспевая подвиги римского народа и деяния Августа в образах мифологических героев, Вергилий показывает преемственность староримских традиций, раскрывает в прошлом черты настоящего, которое таким образом освящалось и утверждалось незыблемым авторитетом мифологического и легендарного прошлого.

Список литературы

1. Гвоздева И. А., Никишин В. О. Принципат Августа как политическая система: теория и практика // Право и государство: теория и практика. 2018. № 6 (162). С. 18–25.
2. Квашнин В. А. Об одном парадоксе римских законов о роскоши // Проблемы истории, филологии, культуры. 2017. № 4 (58). С. 85–96.
3. Лозунова Л. Ю. Историческая и социальная память: парадоксы и смыслы // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11, № 1, ч. 2. С. 227–253.
4. Малешин А. И. Золотой век римской литературы: Эпоха Августа. М. : Юрайт, 2020. (Антология мысли).
5. Машкин Д. А. Принципат Августа: Происхождение и социальная сущность. М. ; Л. : АН СССР, 1949.
6. Межеричкий Я. Ю. Восстановленная республика императора Августа. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.
7. Полонская К. П. Римские поэты эпохи принципата Августа. М. : МГУ, 1963.
8. Репина Л. П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Репиной. М.: Кругъ, 2006.
9. Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) : препринт WP6/2003/07. М. : ГУ ВШЭ, 2003.
10. Ростовцев М. И. Рождение Римской империи. Изд. 3-е. М. : Ленанд, 2015.
11. Соколов К. Б., Осокин Ю. В. Искусство, социальная память и ее мифологизация // Вестн. культуры и искусств. 2018. № 4 (56). С. 58–65.
12. Шифман И. Ш. Цезарь Август. Л. : Наука, 1990.

References

1. Gvozdeva, I. A., Nikishin, V. O. (2018). Printsipat Avgusta kak politicheskaya sistema: teoriya i praktika [Augustus' Principate as a Political System: Theory and Practice]. *Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika*, 6 (162), 18–25.
2. Kvashnin, V. A. (2017). Ob odnom paradokse rimskikh zakonov o roskoshi [On a Paradox of Roman Luxury Laws]. *Problemy istorii, filologii, kul'tury*, 4 (58), 85–96.
3. Logunova, L. Yu. (2019). Istoricheskaya i sotsial'naya pamyat': paradoksy i smysly [Historical and Social Memory: Paradoxes and Implications]. *Idei i ideal'y*, 11, 1, 2, 227–253.
4. Malein, A. I. (2020). *Zolotoi vek rimskoi literatury. Epokha Avgusta* [The Golden Age of Roman Literature. The Age of Augustus]. Moskva: Yurait.
5. Mashkin, N. A. (1949). *Printsipat Avgusta: Proiskhozhdenie i sotsial'naya sushchnost'* [The Augustan Principate. The Origin and Social Nature]. Moskva; Leningrad: Akademii nauk izdatelstvo.
6. Mezheritskii, Ya. Yu. (2016). *Vosstanovlennaya respublika imperatora Avgusta* [Restored Republic of the Emperor Augustus]. Moskva: Russkii fond sodeistviya obrazovaniyu i nauke.
7. Polonskaya, K. P. (1963). *Rimskie poety epokhi printsipata Avgusta* [Roman Poets of the Augustan Principate]. Moskva: Moskovskii gosudarstvennyi universitet.
8. Repina, L. P. (2006). Istoricheskaya kul'tura kak predmet issledovaniya [Historical culture as a subject of research]. In Repina L. P., *Istoriya i pamyat': istoricheskaya kul'tura Evropy do nachala novogo vremeni*, 5–18. Moskva: Krug'.
9. Repina, L. P. (2003). *Kul'turnaya pamyat' i problemy istoriopisaniya (istoriograficheskie zametki)* [Cultural Memory and the Problems of Historiography. (Historiographical Notes)]. Moskva: Vysshaya shkola ekonomiki.
10. Rostovtsev, M. I. (2015). *Rozhdenie Rimskoi imperii* [Birth of the Roman Empire]. Moskva: Lenand.
11. Sokolov, K. B., Osokin, Yu. V. (2018). Iskusstvo, sotsial'naya pamyat' i ee mifologizatsiya [Art, Social Memory and Its Mythologization]. *Culture and Arts Herald*, 4 (56), 58–65.
12. Shifman, I. Sh. (1990). *Tsezar' Avgust* [Caesar Augustus]. Leningrad: Nauka.

Сведения об авторе

Котова Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Information about the author

Anastasia V. Kotova, Cand. Philol. (Eng.), Associate Professor, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Saint Petersburg, Russian Federation

Научное издание

TEMPUS ET MEMORIA

2020. Т. 1. № 1–2

Редактор и корректор
Компьютерная верстка

*Т. А. Федорова
Л. А. Хухаревой*

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77- 79281 от 02 октября 2020 г.
Учредитель — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19.

Дата выхода в свет 25.12.2020. Формат 64 × 84 1/8. Гарнитура Charter.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
<http://print.urfu.ru>

Данное электронное сетевое издание размещено в электронном архиве УрФУ
<http://elar.urfu.ru>.